

С Е Р И Я

П О Л И Т И Ч Е С К А Я

Т Е О Р И Я

МЕЖДУ
КЛАССОМ
И ДИСКУРСОМ

*Левые интеллектуалы
на страже капитализма*

БОРИС КАГАРЛИЦКИЙ



*Издательский дом
Высшей школы экономики*
МОСКВА, 2017

УДК 329.1
ББК 66.62
К12

Составитель серии
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

Рецензент
доктор политических наук
А. Г. ГЛИНЧИКОВА

Дизайн серии
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

Кагарлицкий, Б. Ю.

К12 Между классом и дискурсом. Левые интеллектуалы на страже капитализма [Текст] / Б. Ю. Кагарлицкий; Нац. иссл.- ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. — 280 с. — (Политическая теория). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-1709-3 (в пер.). — ISBN 978-5-7598-1675-1 (e-book).

Политологическое исследование Бориса Кагарлицкого посвящено кризису международного левого движения, непосредственно связанному с кризисом капитализма. Вопреки распространенному мнению, трудности, которые испытывает капиталистическая система и господствующая неolibеральная идеология, не только не открывают новых возможностей для левых, но, напротив, демонстрируют их слабость и политическую несостоятельность, поскольку сами левые давно уже стали частью данной системы, а доминирующие среди них идеи представляют лишь радикальную версию той же буржуазной идеологии, заменив борьбу за классовые интересы защитой всевозможных «меньшинств».

Кризис левого движения распространяется повсеместно, охватывая такие регионы, как Латинская Америка, Западная Европа, Россия и Украина. На этом фоне выделяются отдельные истории успеха, такие как избрание Джереми Корбина лидером Лейбористской партии Великобритании или стремительный рост популярности сенатора-социалиста Берни Сандерса в США. Но подобные успехи не могут стать основанием для нового глобального тренда, если не будут осмыслены и поняты в контексте формирования новой политики, преодолевающей диктат либеральной политкорректности. Левые смогут вернуть себе прежнее влияние, если сами вернуться к классовой повестке. Однако в условиях, когда структура общества радикально изменилась, возвращение к классовой политике отнюдь не означает повторения устаревших формул и лозунгов прошлого века. Необходимо опираться на сегодняшние интересы и потребности трудящихся, выстраивая на этом основании новую программу, объединяя людей и ставя всерьез вопрос о борьбе за власть.

Книга предназначена широкому кругу читателей, интересующихся проблемами политической истории, социологии и экономики.

УДК 329.1
ББК 66.62

В оформлении обложки использована фотография Guillaume Speurt «Soviet statue on the Green Bridge in Vilnius» <[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soviet_statue_on_the_Green_Bridge_in_Vilnius_\(7932316654\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soviet_statue_on_the_Green_Bridge_in_Vilnius_(7932316654).jpg)>

Опубликовано Издательским домом Высшей школы экономики <<http://id.hse.ru>>

doi:10.17323/978-5-7598-1709-3

ISBN 978-5-7598-1709-3 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1675-1 (e-book)

@ Кагарлицкий Б.Ю., 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	7
I. ЛОГИКА ФРАГМЕНТАЦИИ	26
КУЛЬТ КРЕАТИВНОГО БЕЗДЕЛЬНИКА	27
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ТРУД	33
ВОССТАНИЕ ЭЛИТ	38
БУНТУЮЩАЯ ПЕРИФЕРИЯ.....	43
АДАПТАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ.....	49
ФЕМИНИЗМ И ДРУГИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ	59
ПОЛИТЭКОНОМИЯ МИГРАЦИИ	66
РАСКОЛ ЛЕВЫХ	79
«МЕНЬШЕЕ ЗЛО»	87
II. ЕВРОПА ПРОТИВ ЕВРОСОЮЗА	95
КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ КАТАСТРОФА ПАРТИИ СИРИЗА.....	97
МАЛЕНЬКОЕ НЕМЕЦКОЕ ПОТРЯСЕНИЕ	117
ВРЕХИТ.....	124
ВОССТАНИЕ ПРОТИВ ИНСТИТУТОВ.....	138
III. ЭРА ПОПУЛИЗМА	148
ВОЗВРАЩЕНИЕ МАССОВОЙ ПОЛИТИКИ.....	149
ОПЫТ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ	155
ФЕНОМЕН КОРБИНА	164
СИЛА И СЛАБОСТЬ ПОПУЛИЗМА	174

IV. УРОКИ АМЕРИКИ	179
ФЕНОМЕН САНДЕРСА	179
ЦЕНА КОЛЕБАНИЙ	189
ПОСЛЕ ФИЛАДЕЛЬФИИ	191
ЖЕСТОКИЙ РЕВАНШ АМЕРИКАНСКОГО РАБОЧЕГО КЛАССА	197
ЛЕВЫЕ ПРОТИВ РАБОЧИХ	204
ПРОТИВОРЕЧИЯ ТРАМПА	208
V. ФРАНЦИЯ:	
ОТ РЕСПУБЛИКИ К ОЛИГАРХИИ	216
ИГРА В СОПРОТИВЛЕНИЕ	216
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ	220
ВОСХОЖДЕНИЕ МАРИН ЛЕ ПЕН	225
КРИЗИС СИСТЕМНЫХ ПАРТИЙ	230
РЕВАНШ ИСТЕБЛИШМЕНТА	233
VI. НЕРАЗУМНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ	240
СТАБИЛЬНОСТЬ И ПРОТЕСТЫ	241
УКРАИНСКОЕ ПОТЯСЕНИЕ	244
УКРАИНА И РАСКОЛ ЛЕВЫХ	250
ЭФФЕКТ НАВАЛЬНОГО	255
VII. ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС МЫСЛИ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ	259
НОВАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ МЕНЯЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ	260
ОТ ПОПУЛИЗМА К НОВОМУ ИСТОРИЧЕСКОМУ БЛОКУ	264
ПУТЬ ПЕРЕМЕН	268
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	273

ВВЕДЕНИЕ

В конце 2007 г. череда финансовых кризисов дестабилизировала экономику Соединенных Штатов. После того как обанкротился банк Lehman Brothers, один из пяти крупнейших в Америке, на биржах началась паника, подобная той, что знаменовала начало Великой депрессии в 1929 г. Как и положено, рецессия в Америке дала старт аналогичным неприятностям по всей планете. В 2008 г. спад производства охватил основные регионы мировой экономики, за исключением лишь Китая и нескольких стран Восточной Азии, сохранявших инерцию роста. На первых порах казалось, что сценарий Великой депрессии повторяется. Но к лету 2009 г. ситуация на рынках стабилизировалась. Добиться этого удалось за счет активного государственного вмешательства: правительство и Федеральная резервная система США предоставили банкам триллионы долларов для закрытия текущих обязательств и предотвращения дальнейших банкротств. Продолжая заявлять о верности принципам частного предпринимательства и свободного рынка, правительства ведущих стран активно прибегали к национализации. Китай развернул беспрецедентную программу строительства инфраструктуры и новых городов. По дорогам, которые были проложены в рамках этой программы, никто не ездил, а в городах, построенных ради освоения выделенных средств, никто не жил, но подобные отчаянные меры позволили повысить мировой спрос. Поскольку к 2010 г. обвальный спад прекратился, а мировая и американская экономика начали показывать рост, пусть и очень слабый, эксперты и политики поспешили заявить об окончании кризиса. Произошедшие неприятности окрестили *Великой рецессией*, тем самым давая понять, что речь шла пусть и об очень драматичных, но краткосрочных событиях, по сути, не выходящих за рамки стандартного рыночного цикла.

Между тем кризис был еще очень далек от завершения.

Молдавский историк и политический деятель Марк Ткачук писал в 2015 г., что хотя произошедшие события полностью дискредитировали господствующие парадигмы либерально-буржуазного сознания, еще недавно казавшиеся очевидными и не-

зыблемыми, не было никакого основания говорить о торжестве какой-то новой идеологии или парадигмы развития. «И мы видим пока единственную и совершенно предсказуемую реакцию на этот исторический вызов. Эта реакция обнаруживает себя в облике консервативных поисков былого величия, попытках отгородиться, изолироваться, спрятаться от реальности, найти убежище в рукотворной реконструкции всего того, чего никогда не было — радикального ислама, православного фундаментализма, общеевропейской ментальности, вечного конфликта Запада и Востока, Юга и Севера»¹.

Несмотря на то что подтвердились с предельной точностью все предсказания и предостережения критиков неолиберального экономического порядка, «нет никаких оснований утверждать, что пережитый недавно кризис видоизменил существующие глобальные стратегии. Правящие элиты по-своему легко адаптировались к существующему положению вещей и безоглядно сделали шаг навстречу тому построенному миру, который, как выяснилось, не только оказался не *нашим*, но еще и не *новым*»².

Меры по стабилизации кризиса, предпринятые правящими элитами, превратили резкий спад в затяжную деградацию, создав так называемую новую нормальность, когда даже на уровне обывательского сознания возникло предчувствие, что если сегодня хуже, чем вчера, то завтра будет хуже, чем сегодня. Кризис изменил свою форму, перешел на новый уровень, к новому этапу. Систематически проводимая политика спасения государством частных банков и компаний привела лишь к тому, что кризис корпоративных финансов сменился кризисом бюджетного дефицита правительств. В свою очередь, государственные органы не находили иного способа стабилизировать свое финансовое положение, кроме как проводя меры жесткой экономии за счет большинства трудящихся. Таким образом происходило радикальное перераспределение средств от среднего класса и низов общества к корпоративным и финансовым элитам. Кризис экономический стабилизировался за счет возникновения предпосылок для кризисов социальных и политических.

¹ Ткачук М. Грядущее прошлое. Три эссе о рождении, гибели и надежде. Кишинев: Stratum plus, 2015. С. 249.

² Там же. С. 211.

В условиях глобализации финансовые центры оказались способны эффективно перемещать свои проблемы на периферию, что, в свою очередь, привело к тому, что более слабые и более зависимые страны погрузились в глубочайшую депрессию, усугубляемую прогрессирующим долговым кризисом. Причем это относилось не только ко «внешней периферии» Запада (бывшим колониальным и зависимым странам, получившим в 1960-е годы название «третьего мира»), но и к «внутренней периферии» Европейского союза — государствам, с запозданием интегрированным в этот клуб развитых стран. Страны Южной Европы и Ирландия, которые еще за несколько лет до того приводились экспертами в качестве примеров успешного развития и модернизации, оказались на грани банкротства. Финансовая система Европейского союза, частью которой сделались эти страны, столкнулась с ситуацией перманентной турбулентности, когда краткосрочные меры по спасению той или иной страны лишь готовили новый виток финансовой нестабильности в самом ближайшем и хорошо предсказуемом будущем.

Зона единой европейской валюты, которая еще недавно была предметом гордости банкиров и бюрократов, превратилась в источник многочисленных проблем. С того самого момента, когда евро был введен в качестве общей денежной единицы для стран с весьма различной экономикой и социальными порядками, эксперты предупреждали, что подобная финансовая интеграция, хоть и будет стимулировать на первых порах потребительский спрос (за счет более легкого доступа граждан относительно бедных стран к кредитам из стран более развитых), в конечном счете приведет к серьезной дестабилизации всей системы. Теперь эти пророчества самым радикальным образом сбывались. Для поддержания курса евро по отношению к доллару Европейский центральный банк вынужден был систематически душить экономику менее успешных стран, которые просто не могли свести концы с концами при искусственно низкой инфляции. В итоге те, кто и раньше отставали от лидеров европейской интеграции, были отброшены еще дальше назад безо всяких шансов догнать своих более удачливых партнеров. В свою очередь, трудности, которые испытывал Европейский союз, толкали его политических и деловых руководителей на путь внешней экспансии, что очень быстро привело к столкновению с Россией.

В начале 2000-х годов Москва не мыслила иной внешней политики, кроме как основанной на партнерстве с европейским Западом, в котором видели не только экономического партнера и потребителя сырья, но и противовес американской глобальной гегемонии. К середине 2010-х годов Россия и Европейский союз уже находились в жесткой конфронтации из-за борьбы за влияние на бывшие советские республики — Украину, Молдавию и Белоруссию.

Для российских правящих кругов конфронтация с Западом послужила великолепным способом объяснить нарастающие внутренние трудности, которые на самом деле были порождены господствующим экономическим и социальным порядком — общим и для нашей страны, и для Запада. Еще до 2014 г., когда разразился конфликт на Украине, трудности начали испытывать все ведущие незападные экономики — государства Латинской Америки, а затем Россия и Китай. Однако динамика развития кризиса была не равномерной и не синхронной. В итоге проблемы одних оборачивались успехом и ростом влияния других только для того, чтобы вскоре обнаружилось, насколько преждевременным было торжество.

Спад экономики США и Западной Европы в 2008–2010 гг., происходивший на фоне относительной стабильности в Китае, Индии и Бразилии, изменил глобальное соотношение сил, создав в этих государствах иллюзию возможности превращения в новые центры мировой капиталистической системы. Из-за мер по спасению и стимулированию банков, принимавшихся в Америке, финансовые рынки были наводнены долларами. Средства, предоставлявшиеся корпорациям, не достигали рядового американского потребителя и не стимулировали спрос. Они уходили на спекулятивный рынок и в заграничные инвестиции в страны, где прибыль можно было получить быстро. В итоге росли не только экономики Китая или Бразилии, но и цены на сырье. Спекулятивный ажиотаж на нефтяном рынке обеспечил искусственно высокие показатели экономического роста России, правящие круги которой восприняли это как доказательство собственного успеха.

Элиты России, Китая, Индии и Бразилии, преодолев первоначальную панику, вызванную событиями 2008 г., настроены были использовать кризис для пересмотра в свою пользу глобального баланса политических сил. Основание для таких надежд давали

не только сравнительно высокие (особенно на фоне стагнации Запада) темпы роста промышленности, но и масштабы производства, относительная стабильность валют и размеры рынков в этих странах, а также претензии на региональную гегемонию. Все перечисленные государства оставались региональными лидерами, обладающими значительным военным, политическим и интеллектуальным потенциалом. Западные журналисты объединили эти страны в единую группу БРИК: Бразилия, Россия, Индия, Китай. Позднее сюда же присовокупили и Южную Африку, после чего возникла новая аббревиатура — БРИКС (BRICS, где «S» for South Africa).

Лидеры перечисленных стран отнеслись к изобретению журналистов с крайней серьезностью, начав проводить многосторонние консультации, встречи на высшем уровне и запустив совместные проекты. Было принято решение организовать совместный банк и другие структуры, призванные в перспективе стать если не заменой, то во всяком случае дополнением к системе институтов, созданных Западом после Второй мировой войны. Однако несмотря на постоянно звучавшую критику существующего мирового порядка, оставалось совершенно неясным, чем этот порядок должен быть заменен, на каких основаниях реформирован. Подобное противоречие являлось совершенно закономерным следствием положения самих правящих классов и господствующих элит БРИКС. С одной стороны, они стремились повысить свой статус в глобальной системе, но с другой — сами являлись порождением и частью этой системы, а их политика по отношению к собственному народу, методы накопления и использования капиталов, как и способы поддержания власти отнюдь не были альтернативными по отношению к порядкам, насаждавшимся по всему миру в ходе неоллиберальных реформ.

Надежды на то, что страны БРИКС станут новым коллективным локомотивом, а возможно, и гегемоном мировой экономики, вытаскивающим ее на новую траекторию роста, сохранялись вплоть до конца 2014 г., когда новая волна кризиса накрыла и их. Валюты всех этих стран начали испытывать растущие трудности и обесцениваться, закрывались предприятия, сокращалось потребление. Глобальный кризис не удавалось преодолеть. Все предпринимаемые меры приводили к тому, что он лишь перемещался из одной мировой экономической зоны в другую.

Парадоксальным образом основной причиной подобной «живучести» и непреодолимости кризиса являлась стабильность политической и социальной системы ведущих стран мира. Несмотря на то что кризис был порожден исчерпанием возможностей экономического роста в рамках господствовавшей с 1990-х годов неолиберальной модели капитализма, политические и социальные институты были повсюду настолько прочны, что эффективно блокировали любые попытки содержательных перемен. Система продолжала воспроизводиться даже при том, что ее экономические и социальные основания уже были подорваны.

Другой вопрос, что каждый следующий цикл воспроизводства лишь усугублял кризис. Краткосрочные проблемы решались за счет увеличения социально-экономических диспропорций и усиления всех противоречий не только в долгосрочной, но даже и в среднесрочной перспективе. Поскольку теперь воспроизводство не могло быть устойчивым, для поддержания равновесия постоянно требовались дополнительные ресурсы. Их надо было откуда-то брать. В результате правящие круги реагировали на кризис политикой «жесткой экономии» (*austerity*), которая позволяла поддерживать воспроизводство крупного капитала за счет все более массового изъятия ресурсов у основных классов и слоев общества (включая и изрядную часть буржуазии). Одновременно возникает потребность в новой волне геополитической и геоэкономической экспансии для капиталов стран западного центра. В условиях, когда весь мир, за исключением только Кубы, Северной Кореи и болот тропической Африки, уже и без того был включен в систему глобального капитализма и жил по его правилам, экспансия могла разворачиваться лишь в форме «возвращения», «повторного прихода» (*revisiting*), когда страны, однажды уже подвергшиеся неолиберальной реконструкции, должны были пережить ее снова, в еще более жестких и радикальных формах. Ирландия, страны Южной и Восточной Европы, республики бывшего Советского Союза, ранее более или менее успешно вписавшиеся в мировую систему, столкнулись с растущим давлением, не только экономическим, но и политическим. При этом подрывались и отменялись те самые компромиссы и социальные механизмы, которые на предыдущем этапе делали сложившийся экономический порядок устойчивым.

Параллельно пересматривались и условия компромисса между локальными и глобальными элитами, правящими классами центра и периферии, когда ресурсы, ранее остававшиеся в распоряжении последних, теперь должны были поступить в распоряжение первых. На идеологическом уровне это выразилось в том, что западные правящие круги вдруг стали проявлять крайнюю озабоченность коррумпированностью и авторитаризмом периферийных правительств и олигархий. Политико-экономическая перестройка, которая позволила бы решить подобные проблемы, означала бы неминуемое замещение местных элит, сохранявших достаточно высокий уровень автономии, командами управленцев, непосредственно контролируемых международными институтами, транснациональными корпорациями и надгосударственными объединениями, самым заметным из которых являлся Европейский союз. В конечном счете подобный же подход начал все более доминировать и по отношению к самим западным странам, что, в свою очередь, породило новую волну недовольства и конфликтов.

Поскольку политические системы ведущих стран сохраняли стабильность, система начинала рушиться «по краям» в государствах со слабыми институтами — от Египта до Украины. Эти восстания и революции вдохновлялись совершенно различными идеями — от прогрессивных, демократических и левых до националистических и реакционных³. Однако общим для них было то, что в странах со слабой, зависимой экономикой, отсутствием собственных государственных традиций, неразвитой политической культурой и дезорганизованным обществом они не открывали перспективы для реализации новой модели развития, которая могла бы дать импульс переменам в остальном мире. Перевороты, восстания и революции делали разрушительную работу, но как только вставал вопрос о работе позитивной, созидательной, они терпели неудачу. В результате политические потрясения оборачивались наступлением реакции, когда, за редкими исключениями⁴, новая власть (если ей вообще

³ Анализ «первой волны» революций и восстаний, порожденных Великим кризисом, см.: *Кагарлицкий Б.* Неoliberalизм и революция. СПб.: Полиграф, 2013. Термин «Великий кризис» здесь употребляется по аналогии с Великой депрессией.

⁴ Единственным успешным результатом демократических попыток 2010–2012 гг. в арабском мире стала революция в Тунисе, где более или

удавалось укрепиться) оказывалась хуже старой. Политические и социальные отношения приходили в состояние хронической нестабильности, выйти из которой не удавалось, новая логика общественного воспроизводства не складывалась.

Не только угнетенные массы, но и значительные слои буржуазии начинали испытывать растущий стресс, перерастающий в потребность сопротивляться проводимой политике. Это сопротивление, по большей части непоследовательное и вынужденное, нарастало по всему миру. Если в 2014 г. зоной нестабильности и конфронтации были Греция и Украина, то в 2016 г. острые политические и социальные конфликты развернулись уже в Соединенных Штатах, Франции и Великобритании.

Великая рецессия была не более, чем эпизодом куда более масштабной и глубокой исторической драмы, значение и последствия которой могут быть не меньшими, чем это было в случае с событиями 1929–1932 гг. Происходящее можно назвать *Великим кризисом*.

В конечном счете именно стремление правящих элит ведущих стран любой ценой защитить неолиберальную модель капитализма, экономически подорванную кризисом после 2008 г., вело к постепенному, но неуклонному разрастанию политической нестабильности, превратившейся к концу 2016 г. в своего рода *глобальную революционную ситуацию*. Институты, препятствующие назревшим переменам, должны пасть не только потому, что превратились в тормоз развития общества, но и потому что, стремясь сохранить себя в неизменности, они лишь усугубляют кризис, подрывают базовые условия собственного существования и воспроизводства. Сохранение в неизменности политической системы повсеместно требовало мер, ведущих к дестабилизации социальных отношений, что, в свою очередь, сводило к минимуму шансы политической системы на выживание.

В такой обстановке политический кризис неминуемо принимал формы масштабного общественного потрясения, а вопрос

менее была скопирована французская политическая модель. В странах постсоветского пространства ситуация оказалась еще хуже — до тех пор, пока перемены не захватывали Россию, в равной степени обреченными оказывались и попытки установить националистический режим в Киеве, и борьба за социальное государство в противостоявшей ему Новороссии.

о том, готовы ли массы той или иной страны к подобному повороту событий, созрели ли там объективные и субъективные предпосылки для революционных перемен, уходил на второй план, поскольку общество за обществом, страна за страной втягивались в водоворот *глобального* кризиса — независимо от их воли и готовности к переменам. Однако ровно в той мере, в какой проявляла себя на мировом уровне *объективная* динамика распада неолиберальной модели, очевидной становилась и несостоятельность пресловутого *субъективного* фактора в лице левых и антикапиталистических движений, партий и организаций, унаследованных от предшествующего этапа развития капитализма. Проблема не сводилась ни к организационной слабости, ни к идейной отсталости, ни к «непопулярности» левых идей, дискредитированных поражением Советского Союза, сталинскими репрессиями или неудачами других социалистических проектов. Напротив, постоянные ссылки на все эти обстоятельства были не более чем удобным оправданием, скрывавшим куда более серьезную драму.

Отнюдь не отсутствие новых идей превращало левых в беспомощных наблюдателей разворачивавшегося вокруг них кризиса. Напротив, именно тогда, когда те или иные политики готовы были *всерьез* апеллировать к традиционным идеям и лозунгам рабочего и социалистического движения — от национализации до борьбы за социальное государство — они с невероятной быстротой достигали успеха, даже не имея прочной организационной базы, стремительно завоевывали себе сотни тысяч, а порой и миллионы новых сторонников. Так произошло с избранием Джереми Корбина лидером Лейбористской партии Великобритании или с внезапным превращением Берни Сандерса, никому не известного сенатора от штата Вермонт, в одного из ведущих политиков Америки. Но именно эти прорывы с особой остротой демонстрировали системную слабость левых, которые оказывались не готовы к новой ситуации, были растеряны и напуганы ею не меньше, а значительно больше представителей правящего класса.

За организационной и идейной слабостью скрывалась совершенно иная, куда более масштабная и трагическая проблема фатального разрыва между левыми и обществом, превращение левого политического и интеллектуального «класса» в органическую часть либерального проекта и безнадежная маргинали-

зация всех тех, кто не готов был или не пожелал в этот проект вписаться.

Политический режим, установившийся в развитых европейских странах и США, конечно, не является авторитарным, но не является и демократическим в том смысле, к какому общество привыкло на протяжении XX в. Его можно назвать *либеральной постдемократией*⁵. Фундаментальным принципом такого режима является открытое, а часто даже демонстративное, игнорирование общественного мнения и воли большинства при одновременном соблюдении всех формальностей и процедур демократии. В итоге игнорируемое и систематически унижаемое большинство то и дело оказывается вынуждено выражать свою волю и защищать свои интересы за пределами официальных демократических институтов, которые оказались приватизированы привилегированной группой политиков, лишь условно разделяемых на правых и левых. Политической основой этого порядка становится круговая порука буржуазных элит при негласном (а иногда и открытом) пособничестве левых, давно уже интегрированных в эту систему и коррумпированных ею.

По сути дела, демократический процесс превращается в спектакль-симуляцию, оформляющую результаты решений и компромиссов, достигнутых за пределами публичной сферы. Французский философ Ги Дебор еще в 1960-е годы писал про превращение демократии в «общество спектакля»⁶, ссылаясь на растущую мощь телевидения и выветривание содержания из публичных дискуссий, но в те времена его образ был скорее гиперболой и предостережением, чем описанием реально происходящих процессов. Напротив, начиная со второй половины 1990-х годов, пророчество Дебора начинает сбываться самым трагическим образом — не только и не столько из-за растущей мощи массмедиа, сколько из-за того, что правящие круги сумели успешно интегрировать в свою систему бывших лидеров протеста, интеллектуалов, а зачастую и массовые организации трудящихся — партии и профсоюзы, превратив *реформистские*

⁵ Термин «постдемократия» введен в оборот современных политических дискуссий Колином Краучем. См.: Крауч К. Постдемократия. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. (*Crouch C. Post-democracy. Cambridge: Polity Press, 2005*).

⁶ Дебор Г. Общество спектакля. М.: Опустошитель, 2014.

структуры в *соглашательские*, и лишив социальные движения практической перспективы.

В такой ситуации даже организация протестов ритуализируется и обесмысливается, зачастую преследуя единственную цель «выпуска пара». Демонстрации и митинги, как и гневные статьи в прессе, по сути, превращаются в дополнительный метод легитимации принимаемых элитой решений, поскольку организаторы подобных акций не ставят перед собой задачи *практически* блокировать критикуемый ими процесс, а лишь выражают к нему «отношение», что сути происходящего никак не меняет. Пройдя по улицам с плакатами и воздушными шариками, толпы недовольного народа расходятся по домам, а организаторы шествия из числа интеллектуалов, политиков и профсоюзных лидеров возвращаются в свои офисы или идут заседать в парламентские комиссии вместе со своими «идейными противниками».

Акции протеста из средства массовой мобилизации на борьбу против политики элит превращаются в замену этой борьбы, в очередной спектакль, не предполагающий никаких последствий в общественной реальности. Никакой стратегии борьбы, никакой эскалации, никакого развития эти действия не достигают.

При таком положении дел несогласным просто «некуда идти», не к кому обратиться, поскольку патентованные борцы против системы сами являются ее частью, нередко — самой коррумпированной и бессовестной. Однако эскалация начинается происходить стихийно, подогреваемая гневом и фрустрацией масс, которые уже невозможно удерживать в рамках ролей, отводимых им в спектакле. Чем более открытыми и наглыми являются нарушения гражданских и социальных прав, тем более радикальными становятся протесты. Эта инерция протеста начинает захватывать отдельных представителей системы, готовых рискнуть своим положением ради новых открывающихся возможностей или просто смертельно уставших от своих ролей в бесконечном и бессмысленном спектакле, а деятели, которые много лет пребывали на обочине политического процесса, оставаясь внутрисистемными маргиналами, неожиданно превращаются в лидеров массовых движений, политиков первого ряда.

Улица заменяет парламентскую трибуну не потому, что массы недовольных не желают голосовать или участвовать в официальных дебатах, а потому, что они туда не допущены, их права и

воля блокированы элитным сговором. В свою очередь, на рост протестных движений система отвечает репрессивными методами и обвиняет сопротивляющихся в неуважении к демократическим процедурам, от которых сама же этих людей отстранила. Типичными примерами подобных ситуаций могут быть протесты против нарушения избирательных прав в США или против Трудового кодекса во Франции весной 2016 г. В обоих случаях официальные круги открыто и демонстративно нарушали демократические процедуры — закрывали участки для голосования, вычеркивали людей из списков избирателей, фальсифицировали итоги выборов или, как во Франции, проводили законодательство в обход парламента. Но судебные инстанции на это не реагировали или реагировали крайне вяло, результаты подтасованного голосования оставались в силе даже после того, как нарушения были признаны, а законодательство, принятое в обход демократической процедуры, вступало в силу. Не удивительно, что подобная ситуация подогревала гнев и радикализировала протест, после чего официальная пресса обвиняла недовольных в «насилии» и «нарушении демократических норм». Врагами демократии представляли не тех, кто откровенно надругался над правами граждан, а самих граждан, добивающихся восстановления своих прав.

На протяжении большей части периода, последовавшего за распадом СССР, основные усилия левой мысли были направлены именно на поиски наиболее эффективных моделей идейной адаптации к неолиберализму, выступавшему в качестве непреодолимой «объективности», изменение которой может произойти лишь в виртуальном мире культурных символов или в заоблачных высях интеллектуальной утопии, но никак не в сфере политического действия и *борьбы за власть*. Более того, сама идея борьбы за власть систематически и сознательно дискредитировалась как наследие авторитарной культуры прошлого, а классовая борьба из вопроса практической стратегии превращалась в источник ностальгических культурных образов, никак не связанных с политикой. Можно было, конечно, поддерживать рабочие забастовки и заявлять о солидарности с деятельностью профсоюзов, но все это сводилось к своего рода социально-правозащитной деятельности, полностью вписывающейся в логику неолиберализма. Социальная борьба свелась к *сопротивлению* эксцессам системы, утратив ориентацию на

преобразование системы, хотя бы даже и реформистское. Показательно, что именно слово «сопротивление», очень возвышенное и нагруженное ассоциациями с антифашистской борьбой времен Второй мировой войны, вошло в моду, оттеснив другие термины из лексики левых.

В 2016 г. британский марксист Алекс Каллиникос, обдумывая успех радикального левого популиста Джереми Корбина, неожиданно для многих возглавившего Лейбористскую партию, подчеркивал, что этот успех «не отменил классической дилеммы относительно реформы или революции». Каллиникос констатировал, что «подлинный тест для революционных социалистов состоит в том, в какой степени они способны объединиться со всеми, кто поддержал лейбористов во главе с Корбином»⁷. Проблема, стоящая перед левыми, состоит не в выборе между абстрактными концепциями «реформы» и «революции», а в том, что ни реформистское, ни революционное крыло движения в сложившейся исторической ситуации не могут обойтись друг без друга. Однако способны ли радикальные социалисты, постоянно призывающие к мобилизации сил и проведению всевозможных кампаний, выполнить свою часть общего дела, требующую в первую очередь не повторения красивых слов, а повседневной работы среди *реальных* масс, чьи взгляды, настроения, а главное, *объективные интересы* резко отличаются от того, что им приписывают леворадикальные идеологи?

Важнейший культурный урок сапатистского движения в Мексике 1990-х годов состоял в том, что, отправившись в глухомань штата Чьяпас, чтобы создать там «революционный очаг», молодые столичные марксисты обнаружили, насколько их представления о народе отличаются от действительного положения дел среди индейских общин. Субкоманданте Маркос и его товарищи, ставшие позднее лидерами и идеологами сапатистов, сделали из этого правильный вывод, начав учиться у тех, кого сами еще недавно собирались поучать. Однако урок сапатизма не был усвоен или, вернее, был истолкован в духе необходимости отказа от классической марксистской теории. Что, кстати, отразилось и на самих сапатистах, успехи которых оказались весьма ограниченными. Поворот к реальному диалогу с массами

⁷ International Socialism. 2016. No. 152. P. 5.

отнодь не означает необходимости отказа от революционной традиции и теории, а лишь подтверждает, что теория должна постоянно развиваться на основе меняющегося практического опыта. Не означает это и того, что масса непременно права. Ее жизнь на каждом шагу оказывается пронизана предрассудками, коллективными иллюзиями и заблуждениями. Дело лишь в том, что простая констатация данного факта никоим образом не решает проблему.

Если столкновение с индейским, экзотическим «другим» заставляет белого интеллектуала признавать (как правило, в экзальтированно-избыточной форме) свою ограниченность, то столкновение с таким же точно «другим», только принадлежащим к своей собственной расе и нации, вызывает в лучшем случае недоумение, а чаще просто игнорируется. Беда современных европейских левых, однако, состоит в том, что они культурно и социально противостоят основной массе населения ничуть не меньше, чем мексиканские столичные интеллектуалы индейцам Чьяпаса. Увы, в отличие от субкоманданте Маркоса, они не отдают себе отчета в том, насколько оказались отчуждены от того самого класса, интересы которого собираются отстаивать.

Пассивное присутствие левых в неолиберальной системе сформировало определенную логику и культуру поведения, враждебную не только и не столько сложившемуся порядку, сколько стихийным низовым (и потому неизменно «неправильным») попыткам обиженных масс этот порядок изменить. Отказавшись от сталинистских претензий на «внешнее» и «авангардное» руководство массами, левая интеллигенция отнодь не отказалась от привычки смотреть на массы свысока. Она лишь утратила к ним интерес. Если Антонио Грамши в 1930-е годы призывал к формированию слоя «органических интеллектуалов», неразрывно связанных с классом и выступающих своего рода медиумом и формулирующих на языке политики и культуры массовые интересы, то теперь торжествовал прямо противоположный принцип формирования новой интеллектуальной элиты, никоим образом, в отличие от времен большевистской революции, не претендующей на роль авангарда. Эта элита стояла над массами, не считая ни возможным, ни желательным вести эти массы за собой, воспитывать их или хотя бы интересоваться их мнением. Левая интеллектуальная элита обосновала

свою состоятельность и легитимность не через одобрение «необразованными» массами, а через признание со стороны таких же точно элит, только буржуазных.

Этот «новый оппортунизм», однако, вовсе не воспринимал себя как проявление умеренности, ибо его важнейшим идеологическим и культурным компонентом был радикальный дискурс, постоянная и яркая критика капитализма, но не направленная на его практическое *здесь и сейчас* преобразование. Таким образом радикализм великих заоблачных целей выступал не только оправданием самому банальному приспособленчеству, но и выглядел своего рода постоянным укором по адресу мелочно-прагматических масс, сталкивавшихся с повседневными неприятностями и заботами. Хуже того, многие из этих проблем — например, конкуренция местных и приезжих рабочих на рынке труда — объявлялись изначально несуществующими, а следовательно, недостойными того, чтобы задумываться о какой-либо стратегии, направленной на разрешение данного противоречия. Если проблема присутствует лишь в сознании недостаточно образованных рабочих, то и для ее решения достаточно распространения в обществе правильных лозунгов, публичного осуждения расизма и ксенофобии. Как при этом складываются между собой практические отношения рабочих, принадлежащих к разным этническим или религиозным общностям, не имеет никакого значения.

Разумеется, проблема не может быть сведена к поведению левых. Ведь любой модели поведения объективно противостоят различные альтернативы, пусть и менее выгодные в краткосрочной перспективе, но технически тоже возможные. Доминирование нового оппортунизма дополнялось реальной слабостью рабочего движения, вызванной социальными, технологическими и экономическими изменениями последних 15 лет XX в.

В условиях глобализованного капитализма, восторжествовавшего после краха Советского Союза, наемный труд в традиционных индустриальных странах терпел поражение за поражением. Перемещение производств подорвало привычную географию рабочего класса, а технологические изменения разрушили привычную социально-профессиональную структуру, причем не только в развитых странах Запада и в государствах, образовавшихся после развала СССР, но также в Азии и Латинской Америке. Новое географическое разделение тру-

да привело к тому, что работники, принадлежащие к разным профессиональным и квалификационным группам, оказались разделены еще и государственными границами. В старых развитых странах сохранялся спрос на высококвалифицированный труд, но база его воспроизводства постоянно сужалась, ибо значительная часть рабочих мест, требующих среднего уровня квалификации, переместилась в новые индустриальные страны, где, наоборот, крайне слабо был представлен наиболее квалифицированный (а потому и наиболее образованный и организованный) слой наемных работников. В то время как между рабочими средней и высокой квалификации усиливался географический разрыв, неквалифицированные работники и полупролетарии, не имеющие постоянного рабочего места и надежной специальности, оказывались наиболее мобильны, составляя все большую часть трудящегося населения во всех частях мира, включая богатые страны. Можно перенести за границу производство компьютеров, но невозможно таким же образом поступить с уборкой улиц или поджариванием гамбургеров. Зато можно привезти в богатую страну бедняков, которые будут выполнять эту работу за гроши. Низший слой наемных работников, мелких лавочников, полупролетариев тоже оказался разобцен прежде всего по этнонациональному признаку за счет массового использования труда иностранцев, которые, с одной стороны, не имели гражданских прав, а с другой — предлагали свою рабочую силу по заниженным ценам, подрывая позиции местного населения.

В результате этих процессов социальная структура общества становилась все более рыхлой и размытой. Классовые противоречия никуда не делись, более того, с каждым новым этапом развития неолиберализма они обострялись. Но объективное противостояние интересов труда и капитала отнюдь не означало автоматической консолидации трудящегося класса, укрепления его социальной структуры. Напротив, трудящиеся классы к началу XXI в. по своей структуре оказались куда слабее, куда менее интегрированными, чем за сто лет до того. Усиление классовых противоречий еще не создает автоматически условий для классовой политики, опирающейся на соответствующую низовую организацию, на *осознанные* интересы. Надо всем этим приходится работать. И господствующая среди левых идеология, культивировавшая идею «различий» вместо принципа

общности, культ «меньшинств» в противовес привычной демократии большинства, не только не помогла решить проблему, но, напротив, усугубляла ее.

Накапливавшийся протест так или иначе должен был получить выход наружу, выразить себя социально и политически. И неудивительно, что сплошь и рядом он проявился в формах, непривычных для традиционной политологии и тем более — для левых.

Протестные движения иногда маркировали себя как левые, иногда как правые, иногда вообще не способны были к самоидентификации. Они имели различную политическую траекторию. Но общим было то, что все эти движения в своей идеологической противоречивости (и порой невнятности) воспроизводили рыхлую и неустойчивую структуру общества. Объединяла их не идеология и, увы, не классовое сознание, а лишь нарастающее до ощущения полной непереносимости чувство — так жить больше нельзя.

Крушение неолиберализма массы осознали раньше и полнее, чем интеллектуалы и политики. Вернее даже, не осознали, а почувствовали. На своей шкуре.

Однако именно в этот момент перед левыми встал принципиальный выбор: *что является критерием солидарности — класс или культура?*

Более чем очевидно, что низы общества являются менее рафинированными, гораздо более склонными ко всевозможным предрассудкам, чем верхи. Значит ли это, что верные своей политической культуре левые должны предпочесть изысканную и облагороженную буржуазию массе невоспитанных, необразованных и неполиткорректных рабочих? Как ни удивительно это может показаться для людей, привыкших судить о политике на основе постоянно повторяемых ритуальных лозунгов, ответ значительной части левого движения оказался простым и самоочевидным — образованная и «цивилизованная» элита с ее «европейскими ценностями» должна быть защищена от «варварских» и «безответственных» масс, к этим ценностям, увы, равнодушным.

Данная ситуация повторялась снова и снова — когда вставал вопрос о народном восстании в Новороссии или о голосовании за выход Британии из Европейского союза, когда интеллектуалы в США уговаривали избирателей поддерживать кандидата

истеблишмента Хиллари Клинтон, чтобы не допустить победы популиста Дональда Трампа, или когда во Франции радикальные левые аналогичным образом призывали защитить разрушающих социальное государство социалистов от нападок Национального фронта, а затем дружно поддержали ставленника финансового капитала Эммануэля Макрона.

В действительности выбор был вполне классовым, хотя и прикрывался различными риторическими комбинациями, призванными скрыть противоречие между исходным пунктом теоретической критики буржуазного общества и финальным пунктом практической защиты существующего порядка вещей. Однако так или иначе очередной раскол левого движения произошел — менее зрелищно, но ничуть не менее остро, чем после начала Первой мировой войны и во время Русской революции 1917 г. Это уже не раскол между правым и левым крылом движения или между революционерами и реформистами. История ставит вопрос иначе, куда более практически. Политический выбор определяется не уровнем радикализма целей и уж точно не радикализмом слов.

Он определяется солидарностью. Поддержать массовое восстание против неолиберализма или защищать существующий порядок вещей, сознавая, что массы далеко не всегда ведомы самыми прогрессивными идеями и самыми добрыми эмоциями? Выбор не так однозначен, как может показаться на первый взгляд, ибо возмущение низов против извращенной формы либеральной демократии, воцарившейся в большинстве стран к началу XXI в., очень часто сопровождается ростом авторитарных настроений, потребностью в «сильной руке» и надеждами на «вождя», который далеко не обязательно поведет общество именно к новым вершинам свободы и прогресса.

Массовый протест, порожденный Великим кризисом, демократичен по сути, но не всегда по форме. Люди повсеместно хотят не только отстоять социальное государство, против которого были направлены неолиберальные реформы предшествовавших 25 лет, но и вернуть себе возможность распоряжаться собственной судьбой, и требуют уважения к правам большинства, но зачастую сами не знают, что будут делать дальше. В конечном счете угнетенное большинство наряду с другими узурпированными элитой правами требует вернуть себе *право на ошибку*.

Любое массовое движение неоднородно, оно почти всегда включает самые разные, в том числе и авторитарные, реакционные элементы, а любое радикальное преобразование сопряжено с риском. Именно готовность принять риск перемен в конечном счете определяет выбор в пользу поддержки очередного восстания масс. И следовательно — в пользу Истории.

Попытки отстаивать обреченный порядок безнадежны. И представители «прогрессивной общественности», делающие своей целью его защиту, обречены потерпеть поражение вместе с ним — какими бы красивыми словами ни прикрывали они свои действия.

Однако солидарность с трудящимися массами не освобождает ни от моральной ответственности, ни от *обязанности* отстаивать собственное мнение, ни от необходимости, помогая движению, делать все, чтобы помочь ему избежать ошибок, которые будут тем более драматичными, чем более рыхлой, неоднородной и неустойчивой является его социальная база.

Те, кто принимают вызов Истории и воспринимают ее логику, далеко не всегда остаются победителями. Но они получают шанс.

I. Логика фрагментации

Главная победа, одержанная капиталом над трудом на рубеже XX и XXI вв., состояла не в глобальном сдерживании роста заработной платы, не в повсеместном ослаблении профсоюзов и даже не в том, что левые правительства и партии всех оттенков вынуждены были сдавать свои позиции. Самая значимая победа была идеологическая. И состояла она в повсеместном признании «необратимости» произошедших перемен. Неoliberalизм установил в обществе свою идейную гегемонию, с которой смирились даже многие политические группы и течения, яростно и искренне правящий класс критикующие.

Разумеется, данная идеологическая победа отражала изменившееся соотношение сил между общественными силами и классами, но одновременно закрепляла в сознании побежденных это временно сложившееся соотношение сил как нечто неподвижное, неизменное и объективное.

Реванш капитала был осмыслен в качестве объективного процесса *глобализации*, которая выступала как нечто одновременно неизбежное, нейтральное и позитивное. Этот процесс и в самом деле являлся объективным, но лишь в том смысле, что происходил не на пустом месте, имел свои предпосылки, условия и ограничения (о последних, естественно, в соответствующем дискурсе умалчивалось). Он был предопределен не только логикой экономических и технических процессов, но и результатами борьбы общественных сил, порождая собственные противоречия и конфликты, которые неминуемо должны были это соотношение менять.

Хотя идеологическое закрепление политического и социального успеха является вполне естественным для любого победившего класса, на сей раз оно создавало определенные проблемы и для победителей, и для побежденных тем, что находилось в вопиющем противоречии с доминировавшей логикой развития предшествовавших двух сотен лет. С одной стороны, торжество социальной реакции означало историческую обратимость прогресса (что, логически, могло означать и обратимость вообще любых общественных изменений, включая и только что произошедшие), а с другой стороны, логика исторического про-

гресса, отвергаемая тезисом о необратимости противоположно направленных перемен, создавала проблемы для легитимации самой буржуазной системы, которая так или иначе исторически обосновывала себя именно через предшествовавшее прогрессивное развитие — не случайно к традиции Просвещения и наследию Великой французской революции апеллировали как социалисты, так и либералы.

Это противоречие позднего капитализма было решено за счет одновременного распространения двух идеологий — неолиберализма и постмодернизма. Если неолиберализм претендовал на определенную преемственность, лишь меняя привычные оценки и подчеркивая, что прогрессом является именно то, что ранее считалось его тормозом (сокращение прав работников, отказ от общественного контроля и регулирования и т.д.), то постмодернизм ставил под вопрос прогресс как таковой. Первая идеология предназначалась победившей буржуазии, вторая — деморализованным левым интеллектуалам. В совокупности они позволяли «танцующим поменяться местами». Консерваторы присвоили себе знамя прогресса, а их критики не только выступили противниками перемен, но и признали, в конечном счете, что у них нет объективных задач, исторических перспектив и общественно значимых целей, за которые стоило бы бороться. Иными словами, обществу незачем было объединяться. Однако в отличие от *стихийной* «войны всех против всех», описанной Томасом Гоббсом в эпоху раннего капитализма, поздний капитализм предлагал людям организованное по его правилам *упорядоченное* состязание «меньшинств», претендующих на доступ к ресурсам, неизменно контролируемым элитой. Другой вопрос, как долго это состязание могло оставаться мирным, доброжелательным и управляемым.

КУЛЬТ КРЕАТИВНОГО БЕЗДЕЛЬНИКА

Восстание «новых левых», разразившееся на Западе в конце 1960-х годов, своим идеологическим острием было направлено не только против власти капитала, но и против социал-демократических институтов, с помощью которых, по мнению радикальных студентов, происходило «врастание» рабочего класса в буржуазный порядок. И в самом деле, достижения послевоенной эпохи существенно смягчили конфронтацию между

классами в развитых обществах Европы и Северной Америки. На этом фоне антикапиталистическое восстание студентов оказалось обречено на поражение. А вот леворадикальная критика государства и социальной политики, напротив, оказалась востребована. Только востребована не рабочим движением и противниками системы, а идеологами неолиберализма, начавшими наступление справа на те же институты, что так не нравились революционным студентам.

Те, кто критиковали социальное государство «слева», не смогли позднее объяснить, почему в годы неолиберальной реакции правящий класс с такой яростью принялся демонтировать и даже крушить те самые институты, которые левые радикалы считали (и не совсем безосновательно) подпорками буржуазного порядка. Между тем ничего загадочного тут нет: надо только осознать диалектическую противоречивость самого капиталистического развития. Социальное государство, будучи порождено развитием классовой борьбы в той же мере, как и естественно менявшимися потребностями экономики, само же меняет соотношение сил в обществе. Именно поэтому оно становится объектом ожесточенных атак со стороны капитала даже тогда, когда система испытывает объективную потребность в результатах его функционирования.

Данное противоречие, в свою очередь, предопределяет кажущуюся непоследовательность неолиберализма, который на каждом данном этапе оказывается не готов следовать собственной риторике и уничтожать все проявления социального государства разом. Отчасти это объясняется силой сопротивления трудящихся, но не только. Сопротивление масс каждый раз оказывалось эффективно, несмотря на господствующее стратегическое положение неолибералов, именно потому, что речь шла о чем-то большем, чем классовый интерес угнетенных. Требования борющихся низов отражали определенные общественные потребности, полностью игнорировать которые не могла и сама торжествующая буржуазия.

Концептуальный подход неолиберализма, таким образом, представляет собой попытку сохранить некоторые плоды работы социального государства при одновременном подрыве его институтов, его основ и, что особенно важно, при последовательном устранении их *классового* содержания. Отсюда три основных принципа неолиберальной социальной политики.

Во-первых, это коммерциализация, превращение безусловной государственной помощи и обязательств в сумму социальных услуг. Эти услуги могут быть и бесплатными, либо субсидируемыми, но меняется сам подход. Список платных и бесплатных услуг (в отличие от неотчуждаемых прав) может произвольно пересматриваться в зависимости от приоритетов текущей политики.

Во-вторых, происходит фрагментация социальной политики, замена единого комплекса общественных служб и гражданских институтов совокупностью программ, которые тоже могут варьироваться и пересматриваться, не будучи никак связаны между собой. При этом в денежном измерении социальные расходы могут даже расти, но их совокупная эффективность неизменно падает, что, в свою очередь, дает основание радикальному крылу буржуазии требовать пересмотра списка программ и их сокращения как бессмысленной траты денег.

Наконец, в-третьих, торжествует принцип адресной помощи, которая предоставляется не всем по праву рождения и гражданства, а исключительно «слабым» и «нуждающимся», список которых, опять же, произвольно формирует и пересматривает бюрократия вместе с либеральными экспертами, определяющими критерии.

Парадокс в том, что такой подход неминуемо увеличивает, а не сокращает зависимость граждан от государства, открывая безграничные возможности для произвола бюрократии, а также объясняет взрывообразный рост числа чиновников во всех странах, переживших рыночные реформы. Несмотря на то что неолиберальная критика социального государства обвиняет левых в насаждении иждивенчества и в патернализме, эти явления порождены как раз повсеместным внедрением адресной помощи. Принцип социального государства, предполагающий универсальность прав и равенство граждан, противоположен патерналистскому подходу, основанному на отеческой заботе власти по отношению к тем или иным категориям подданных. В гражданском социальном государстве людям нет основания благодарить чиновников и правителей за что-либо: просто должны выполняться законы и правила, общие и единые для всех. Иное дело в обществе, где господствует система адресной помощи и социальных программ. Власть вольна включать или не включать человека, группу людей или целый регион в кате-

горию нуждающихся. В свою очередь, получатели помощи обречены встраиваться в схемы клиентелистских отношений, обрекая себя на зависимость от патрона. Тот же патерналистский принцип был реализован на межгосударственном уровне в рамках Европейского союза, где отдельные регионы или группы получали напрямую помощь от Брюсселя в обход собственного правительства, превращаясь в заложников неолиберальной интеграции. Очень наглядно это было продемонстрировано в 2016 г. в ходе референдума о выходе Британии из Евросоюза. Регионы, получавшие адресную помощь из Брюсселя, склонны были голосовать против большинства собственного народа и против интересов собственной страны, поскольку сидели на крючке соответствующих программ, становясь, по сути, коллективными клиентами еврочиновников. Именно это, а вовсе не особенности национального менталитета или сепаратизм, определило появление большинства в пользу ЕС в Шотландии, куда еврократия вполне сознательно направляла денежные потоки, стремясь создать противовес неуступчивой и самостоятельной Англии.

То же самое касается и трудовых отношений. Систематическое ослабление профсоюзов и реформирование рынка труда поставили значительную часть работников в положение «прекариата». Хотя данный термин изобретен социологами сравнительно недавно¹, само по себе явление, им обозначаемое, отнюдь не ново. Фактически многие наемные работники оказались к началу XXI в. в том же положении, в котором находился пролетарий первой половины XIX в. до начала подъема организованного рабочего движения. Тогда социальную обстановку изменило появление сильных профсоюзов. Сейчас все обстоит несколько иначе. В отличие от промышленных рабочих, легко поддающихся организации и способных эффективно бороться за свои права, например, останавливая производство, изрядная часть прекариата сосредоточена в сфере услуг и новых постиндустриальных отраслях. Условия труда тут отнюдь не благоприятствуют организованной борьбе. В такой ситуации вопрос об укреплении позиций работников на рынке труда и изменении их статуса становится *непосредственно политическим вопро-*

¹ См.: *Standing G. The Precariat: The New Dangerous Class. L.; N.Y.: Bloomsbury Academic, 2011.*

сом, который нельзя урегулировать в конфликте с отдельным конкретным работодателем, поскольку он требует реформирования системы трудовых отношений в целом.

Именно на таком фоне получает распространение идея безусловного базового дохода (ББД), которую поддерживают многие политики как справа, так и слева. С одной стороны, эта концепция предполагает возврат к универалистскому принципу социальной политики, а с другой — устраняет связь между классовыми интересами трудящихся и развитием социального государства. Социальное государство XX в., как в социал-демократическом, так и в советском своем варианте опиралось на политику занятости, когда обеспеченные работой люди, составлявшие основную массу населения, поддерживали своих безработных или нетрудоспособных сограждан, внося вклад в финансирование здравоохранения, образования и культуры. Тем самым воплощалась на практике марксистская идея о всеобщности труда. «Безусловный базовый доход» отнюдь не приведет к исчезновению труда или всеобщему безделью, но он призван разорвать эту связь и ослабить в обществе этику труда — как в протестантском, так и в пролетарском ее понимании. Кроме того, этот подход технически осуществим лишь в наиболее богатых странах и призван увеличить разрыв между населением стран центра и периферии, подорвать солидарность между разными группами трудящихся на глобальном уровне. Именно поэтому реформа, казалось бы воплощающая идеологию равенства и универсальности в духе коммунистических утопий, получила неожиданно большую поддержку в правополиберальных кругах некоторых богатых стран.

Правоверные лютеране, кальвинисты и баптисты (как и социалисты) всегда осуждали нетрудовой доход. Это отразилось на итогах референдума в Швейцарии, когда в июне 2016 г. население конфедерации подавляющим большинством отвергло инициативу по введению ББД. Таким же фиаско закончилась попытка сделать безусловный базовый доход лозунгом предвыборной кампании социалистов во Франции год спустя. В Финляндии ББД начал внедряться сверху в виде эксперимента, инициаторы которого стремились постепенно приучить общество к новой реальности.

Спротивление масс людей попыткам навязать им нетрудовой доход вполне понятно. В известном смысле левая идеология

логически вырастает из того самого «духа капитализма», о котором писал Макс Вебер. И соответствующая критика буржуазного общества как раз предполагала не только протест против растущего неравенства, но в первую очередь несогласие с тем, что это неравенство никак не отражает количество и качество *общественно полезного* труда, затрачиваемого людьми. Инициаторы идеи безусловного базового дохода исходили из прямо противоположной логики. Вместо того чтобы устранить нетрудовой доход, они попытались сделать его всеобщим базовым принципом.

Вопрос «кто за это заплатит» является далеко не таким сложным, как кажется, — работать будут мигранты, трудящиеся в Китае или в Индии, и, конечно, немножко роботы. А западноевропейское общество трансформируется в совокупный креативный класс, для которого труд превратился в удовольствие, развлечение, игру или деятельность по самосовершенствованию. Это тоже своего рода коммунистическая утопия, но принципиально враждебная как буржуазным, так и пролетарским ценностям, отражающая самодовольное представление креативного класса о самом себе как об идеале будущего человечества.

Безусловный базовый доход предлагался именно как альтернатива общественно полезному труду, как источник средств, позволяющий человеку принадлежать к среднему классу, не делая вообще ничего, не предпринимая никаких усилий и не принося никому никакой пользы. Иными словами, государство должно стимулировать обособление людей от общества, их социальную атомизацию и разрушение экономических связей между ними. Разумеется, авторы идеи были совершенно правы, возражая, что даже после введения новой системы найдется достаточное количество (даже, скорее всего, большинство) людей, которые сделают выбор в пользу труда. Но проблема не в том, сколько граждан останется работать или, наоборот, предпочтет паразитировать на себе подобных, а в том, каким становится базовый принцип распределения доходов, логика поведения и доминирующая этика в обществе.

Освобождение людей от «проклятья» труда — давняя идея, восходящая еще к мифам об Эдемском саде и потерянном рае. Но в марксистской традиции реализуется она не через превращение креативного бездельника в идеал свободной личности, а через преобразование и гуманизацию самого труда, когда че-

ловек перестает уже быть просто живым придатком машины. Речь шла о социальной революции или реформах, затрагивающих способ производства, общественные отношения и структуру социума, а не о перераспределении средств в пользу тех, кто не хочет разделить со своими согражданами бремя труда. Напротив, утопия инициаторов швейцарского референдума скорее напоминала будущее из «Машины времени» Герберта Уэллса, где утонченные элои паразитируют на труде звероподобных морлоков — до тех, впрочем, пор, пока последние не вылезут из-под земли, чтобы их сожрать.

Появление подобного проекта свидетельствует о кризисе идеи общественного преобразования. Это современная позднебуржуазная социальная математика, предлагающая нам все делить, ничего не отнимая. Дискуссии о справедливости сводятся к вопросу о эффективном распределении и стабильном потреблении. Никому не интересно, каким способом создаются ценности, кто их контролирует, главное, чтобы каждый мог получить свою долю. Организация производства, власти и собственности никого больше не волнует. Вместо того чтобы изменить общественные отношения (и в том числе отношения трудовые), нам предлагают создать возможности для массового паразитического существования жителей богатых стран, которые тем более становятся заинтересованными в сохранении именно такой системы, позволяющей им жить за счет других — прежде всего за счет эксплуатации стран периферии.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ТРУД

Подводя итоги двух с половиной десятилетий глобализации и неолиберальной экономической политики, восторжествовавшей в мировом масштабе после крушения СССР, эксперты отметили неожиданную тенденцию — неуклонно снижающиеся темпы роста производительности труда². Это явление пытались объяснять по-разному, рассуждая то про инновационные циклы, то про исчерпание текущей парадигмы технологического развития (что звучало очень странно на фоне незадолго до того провозглашавшегося триумфа информационной революции).

² См.: Мальцев А. Технологическая стагнация в глобальной экономике // Левая политика. 2015. № 24.

Но неизбежность подобного хода событий была предсказана социологами-марксистами еще в начале 1990-х годов, и это отнюдь не было связано с кризисом научного знания. Причиной неминуемой стагнации производительности труда явилась восторжествовавшая на рубеже XX и XXI вв. логика трудовых отношений.

Ключевым принципом неолиберальной глобализации является поиск капиталом все более дешевых рынков труда. То, что профсоюзы называют «гонкой на спуск», когда инвестиции приходят именно туда, где ниже заработная плата, ниже налоги, из которых финансируются социальные программы, менее строги экологические стандарты, менее жесткое государственное регулирование, а работники слабо организованы и неспособны защищать свои права.

При таком подходе возможности правительства успешно развивать экономику своей страны зависят от того, насколько удастся сделать, чтобы население получало как можно меньше выгод от этого развития. Как только экономический рост начинает стимулировать рост заработной платы, а крепнущий средний класс начинает предъявлять требования к качеству жизни, экологии, социальным стандартам и т.д., инвестиционная привлекательность вашей страны снижается. Капитал перетекает на другие рынки.

Триумф неолиберализма был закреплен в начале 2000-х годов идеологически. Но достигнут он был не за счет идеологических побед. Точно так же нет оснований говорить о том, что за прошедшую четверть века капиталистическая экономика стала эффективнее. Скорее наоборот — уровень коррупции резко повысился, нерациональные потери и непроизводительные затраты резко выросли. Господствующие классы снова предпочитают растрачивать свои доходы на роскошное потребление, не вкладывая достаточных средств в производство. Можно вспомнить и безумные рекламные бюджеты, эффективность которых, по признанию аналитиков, зачастую равна нулю, кроме тех случаев, когда они раздражают и отпугивают потенциального покупателя (тут достигается негативная эффективность). Капитализм стал менее рациональным. Однако глобализация рынка труда резко изменила соотношение классовых сил в старых индустриальных странах — от Германии до России и от Канады до Аргентины. Повсюду призраки бегства капиталов пугают

правительства и профсоюзы, заставляя их соглашаться на отказ от регулирования, на понижение или несоблюдение трудовых и экологических стандартов.

Перемещение индустриальной занятости в Китай и некоторые другие азиатские страны сопровождалось изменением рынка труда в Европе, России, Канаде и США. Теперь все больше людей занято в сфере услуг, работает на дому или в офисах, состоит на государственной службе. Такие работники гораздо менее сплочены, они не имеют сильных профсоюзов и традиций организованной борьбы.

Казалось бы, сокращение индустриальной занятости отражает историческую тенденцию технического прогресса: по мере роста производительности труда все больше людей будет высвобождаться для творческой, интеллектуальной и общественной деятельности. Но, увы, это не так. Вернее, не совсем так. Вопреки прогнозам, в начале XXI в. не роботы вытесняли людей, а люди роботов. Сенсационные успехи робототехники, которые для развлечения публики демонстрировались на различных выставках, более или менее воспроизводили концепции и разработки 1960-х годов, но по большей части не имели никакого отношения к производству, где торжествовали отношения и технологии, типичные для европейской мануфактуры первой половины XVII в. Эти отсталые производства оказываются высококонкурентоспособными именно за счет предельно низкой заработной платы и бесправия работников.

Занятость в «старых» индустриальных странах поддерживается за счет того, что, с одной стороны, ряд задач невозможно решить без современных производств и соответствующих работников, а с другой стороны, разрастается все та же сфера услуг на основе неквалифицированного и малоквалифицированного труда. Социальный эффект, вызванный такими процессами на рынке труда, не сводим к снижению заработной платы. Блокируется вертикальная мобильность. Сильной стороной индустриального общества было наличие *большого количества рабочих мест среднего уровня*, на которые могли легко переходить активные молодые люди, повышая свою квалификацию и статус. Новый экономический порядок породил большое число «плохих» рабочих мест и весьма ограниченное количество «хороших», требующих очень высокого уровня подготовки, знаний и часто связей (причем наличие социальных связей нередко

является условием эффективного труда на данной позиции). Масса «средних» мест перемещается в страны Азии, где они тоже оказываются тупиковыми, поскольку следующий уровень глобальных производственных, технологических и управленческих цепочек находится географически за тысячи километров. На определенном уровне успеха вертикальная мобильность предполагает смену страны, общества, языка и культуры. Иными словами, личные достижения, например, топ-менеджеров, переместившихся из московского или стамбульского офиса в лондонский или парижский, не становятся фактором социальной жизни тех стран, откуда происходят профессионалы, пополняющие глобальную управленческую элиту.

Между массой неквалифицированных «низов» и «рабочей аристократией» возникает почти непреодолимый разрыв. Подрывается не только солидарность. Утрачивается элементарное взаимопонимание, особенно, если низы и верхи в мире труда принадлежат к разным этническим и конфессиональным группам. На низовом уровне формируется социальное гетто, откуда почти невозможно вырваться (отдельные истории успеха не становятся массовым явлением, меняющим среднестатистические шансы). На верхнем уровне квалификационной иерархии обнаруживается критическая нехватка кадров. Здесь могут неоправданно расти зарплаты, но это отнюдь не значит, будто усиливается позиция рабочего класса в целом, поскольку одновременно увеличивается и разобщенность между его низами и верхами.

Разумеется, свобода движения капитала не безгранична, а размеры планеты ограничены. Как бы ни жаловались транснациональные корпорации на обленившихся китайцев, которые хотят получать слишком большие деньги за свой труд, бизнес не может быть просто перенесен в Африку или Полинезию, поскольку там нет ни инфраструктуры, ни кадров для многих производств. Как нет там и огромных масс работников, готовых трудиться на фабриках даже с самой примитивной технологией. Но зато в начале XXI в. резко упала заработная плата в ведущих странах «центра». Немецкий или американский рабочий, если учитывать квалификацию и качество его труда, уже стоит дешевле китайца. Возвращение части рабочих мест в «старые индустриальные страны» становится практически неизбежным и уже начинает происходить. Однако остается открытым вопрос

о том, в какой форме, какими темпами, в каких масштабах и с какими последствиями это случится.

В конечном счете главная проблема неолиберальной глобализации не в том, что экономика дешевого труда упирается в объективные границы, а в том, что она подрывает спрос. Тем самым выявляется одно из классических противоречий капитализма — между логикой накопления и логикой потребления. Накопление капитала требует минимизировать любые издержки и в первую очередь — сдерживать рост заработной платы. Но в то же время то, что для каждого конкретного предприятия является снижением издержек на труд, для экономики в целом оборачивается снижением или торможением роста платежеспособного спроса. Ваши товары становятся дешевле, но их все равно не покупают, поскольку денег у населения нет. И происходит это в планетарном масштабе, затрагивая не только старые индустриальные страны, но и Китай.

Именно в этом суть разворачивающегося сегодня глобального кризиса. Подобные тенденции были характерны для ранней индустриальной эпохи (достаточно вспомнить кризисы XIX в. и поздневикторианскую депрессию). Выходом из них оказывались либо войны за передел рынков, либо революции и социальные реформы. В последнем случае общество, ограничивая «свободу капитала», одновременно создавало стимулы для более интенсивного развития экономики. Дорогой труд формировал спрос на новую более производительную технику, высокие зарплаты стимулировали рост потребления, а главное — потребность в более качественных товарах и услугах, требующих, в свою очередь, более квалифицированного специалиста. Все это в совокупности способствовало развитию науки, образования и культуры. В современной неолиберальной системе эти высоко ценимые сферы оказываются все более отключены от общих потребностей социально-экономического развития (замещаемых в лучшем случаях частными заказами и прикладными задачами). Поэтому наука и образование деградируют, а чиновники возмущаются низкой эффективностью ученых и преподавателей, вводя все новые и новые схемы контроля, но не имея ни малейшего понятия о том, что и зачем они должны контролировать.

Поворот к экономике дорогого труда назрел так же, как и в начале XX в. Но он не может быть (как и в прошлый раз) осу-

ществлен без радикального перераспределения производства, без протекционизма, без социальных и политических преобразований. Иными словами, этот переход будет не менее драматичным и болезненным, чем сто лет назад.

ВОССТАНИЕ ЭЛИТ

Заниматься исследованием элит в современной социологии — дело гораздо более популярное, чем изучать массы. Однако политическая жизнь последней четверти XX в. действительно была временем, когда именно привилегированные группы, обладающие ресурсами власти, собственности и возможностями контроля над информационными потоками, играли все большую роль, оттесняя все другие общественные слои на обочину. Если в первой половине XX в. испанский консервативный философ Хосе Ортега-и-Гассет раздраженно писал про «восстание масс»³, то в конце века американский мыслитель Кристофер Лэш говорил уже про «восстание элит»⁴.

Отстранение масс от политики оказалось почти повсеместным явлением, в разной мере наблюдавшемся в самых разных регионах мира — на фоне столь же повсеместного декларативного признания ценностей демократии и не менее широкого распространения соответствующих институтов (соревновательных выборов, многопартийности и т.д.). Разумеется, массы по-прежнему присутствовали в телевизионной картинке, люди опускали бюллетени, ходили на демонстрации, а кое-где даже бунтовали и дрались с полицией, но их интересы, их проблемы, их идеи полностью исчезли из повестки дня.

С одной стороны, соперничающие между собой элитные группы активно использовали недовольное (или наоборот, лояльное) население в качестве массовки и электората. С другой стороны, однако, попытки низовых движений прорваться в «серьезную политику», навязав правящим слоям для обсуждения свои собственные вопросы, или заставить считаться со своим мнением по большей части заканчивались ничем. Ре-

³ *Ортега-и-Гассет Х.* Восстание масс. М.: АСТ, 2005.

⁴ *Lasch Ch.* The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy. N.Y.: W.W. Norton, 1994 (*Лэш К.* Восстание элит и предательство демократии / пер. с англ. Дж. Смити, К. Голубович. М.: Логос, 2002).

нения, которые ранее считались сферой общественной дискуссии, теперь определялись как «технические», обсуждаемые исключительно экспертами. Мнение «простого человека» могло здесь рассматриваться лишь в качестве забавного курьеза. Уверенность в том, что «непопулярные реформы» являются «объективно необходимыми» и должны проводиться совершенно независимо от того, что думает о них население, стала общим местом экономической журналистики и характеризовала деятельность почти всех, за редким исключением, правительств. Различие между левыми и правыми свелось к тонким культурным нюансам, совершенно не значимым и не интересным для населения. Одновременно подобные вопросы (вроде официальной регистрации брака для однополых пар), интересовавшие в лучшем случае 1–2% жителей любой страны, превратились в главные темы для общенационального (а порой и международного) обсуждения и политических баталий — именно потому, что непосредственного отношения к реальным проблемам большинства они не имели. Постоянно выносимые на экраны телевизоров, на первые страницы газет, в блоги Интернета, эти проблемы рано или поздно приобретали ранее не присущее им значение, становясь основой для реального разделения общества. Но это лишь демонстрировало, насколько небольшие элитные группы способны манипулировать общественной дискуссией, не только выбирая удобные для себя темы, но и заставляя остальных определять свои позиции и формулировать свою политическую или идеологическую идентичность через выбор, который был им искусственно навязан, не имея отношения к потребностям и опыту их собственной жизни.

Если содержанием политической эволюции конца XIX — начала XX в. было превращение народных масс из объекта в субъект политики и истории, то сто лет спустя процесс шел в обратном направлении. Когда произошел этот перелом, с чего он начался и почему оказался столь масштабным? По всей видимости, на Западе поворотным моментом стали две забастовки, проигранные профсоюзами в 1980-е годы. После того как Маргарет Тэтчер в Великобритании сломала сопротивление шахтеров, а Рональд Рейган в Соединенных Штатах подавил протесты авиадиспетчеров, соотношение сил между трудом и капиталом в развитых демократических странах начало яв-

ственно и неуклонно меняться в пользу последнего. Классовая борьба из лозунга пролетариата превратилась в принцип жизни буржуазии. Социальные завоевания предшествующих десятилетий постепенно отменялись, ограничивались или сводились на нет.

Распад Восточного блока в 1989 г. стал следующим этапом перемен. И дело не только в том, что страны, где до того господствовали коммунистические режимы, одна за другой переходили на капиталистический путь развития, стремясь как можно скорее, любой ценой интегрироваться в глобальную экономику, но и в том, что этому почти никто не сопротивлялся, а бывшие коммунисты с необычайной легкостью перекрасились в либералов, националистов, социал-демократов или консерваторов. Спросом пользовались любые идеологии и символы, кроме тех, которым правящие круги присягали в ходе предшествующего исторического периода.

Перекрашивались, впрочем, не только представители старых коммунистических элит, но и многие диссиденты — из демократических социалистов и левых либералов они в одночасье становились националистами и консерваторами.

Решающий перелом наступил с крушением Советского Союза. После того как Запад перестал опасаться советского вызова, склонность правящих классов к социальному компромиссу внутри собственных стран резко пошла на убыль. Холодная война заставляла обе стороны оглядываться на большинство своих граждан, считаться с ними. Формально-условной поддержки со стороны народа было недостаточно, что доказал от обратного опыт стран Восточной Европы, где долгое время все было более или менее «нормально», но в 1989 г. система рухнула за считанные недели, как только стало ясно, что нет причин бояться Большого Брата.

Напротив, на Западе демократия развивалась таким образом, что любые попытки внешней дестабилизации блокировались в конечном счете не политиками, не спецслужбами, а самим населением, принимающим и поддерживающим существующую систему. Рабочий класс, голосуя за социал-демократические и даже коммунистические партии, мог демонстрировать свою оппозиционность по отношению к капиталу, конфликт между классами ни на минуту не прекращался, но при этом обе стороны были заинтересованы в сохранении существующих правил

игры, институтов, не желали хаоса и жесткой конфронтации⁵. Классовая борьба далеко не всегда принимает форму революционного противоборства. Трудящиеся Запада не хотели, чтобы революция обернулась потерей гражданских свобод, как в СССР. Капитал нуждался в политической поддержке трудящихся, чтобы защитить либеральную демократию. С исчезновением Советского Союза ситуация изменилась. И хотя неолиберализм возник задолго до того (отчасти как реакция на издержки социального государства и кейнсианского регулирования, а отчасти как результат осознания буржуазией необратимого упадка советской системы), именно после 1991 г. он становится жестким, агрессивным, бескомпромиссным и глобальным.

После событий 1989–1991 гг. коммунистические партии в большинстве стран терпят крах, меняют названия и отказываются от своей идеологии. А что происходит с социал-демократией? Она тоже стремительно приходит в упадок. Развивавшаяся в тепличных условиях послевоенного глобального равновесия, она не была готова к борьбе в обстановке резко обострившегося классового конфликта. Мастера переговоров и виртуозы классового компромисса столкнулись с буржуазией, которая за несколько лет, а иногда и месяцев, из миролюбивого «социального партнера» превратилась в жесткого и непримиримого врага. После серии унижительных неудач, когда рабочие организации терпели поражение не только на выборах, но также в ходе забастовок и в публичных дискуссиях, лидеры социал-демократических партий предпочли перейти на сторону победителя. Сохранив (в отличие от коммунистов) партийные названия и символы, они сменили идеологию и программу. Доказав свою лояльность победоносной буржуазии, они были уверены, что их избиратель, даже видя, что его раз за разом предают, все равно никуда не денется — альтернативы не было.

Эта тактика дала свои плоды — социал-демократические партии стали возвращаться к власти. Но уже не в качестве реформаторов, а просто в роли менеджеров системы, не решающих даже высказать собственное мнение. Они вписались в буржуазный политический класс и окончательно растворились в нем.

⁵ Подробнее см.: *Кагарлицкий Б.* Диалектика надежды. Париж: Слово, 1988.

Параллельно происходил аналогичный по сути, но самостоятельный процесс интеграции левых интеллектуалов в буржуазную академическую и культурную элиту. Внешне он выглядел продвижением радикальных левых, ранее казавшихся маргиналами и бунтарями, на влиятельные посты в массмедиа, университетах, государственных экспертных организациях и т.д. Однако этот успех никак не отражал роста политического или даже идеологического влияния левых. Напротив, он был обратно пропорционален общественной силе антикапиталистических движений. Объясняется этот парадокс тем, что успех вчерашних бунтарей покупался ценой приспособления к системе. Они не завоевывали институты (как планировал в конце 1960-х годов идеолог «новых левых» Руди Дучке), а поглощались ими. Соответственно источником легитимности и влияния для «левых» интеллектуалов была уже не поддержка рабочего класса и его партий, а признание себя равными и достойными со стороны либеральной элиты в рамках академических, культурных и идеологических институтов. Подобная интеграция интеллектуалов, с одной стороны, привела к тому, что «радикальный дискурс» (феминизм, культ меньшинств, однополые браки и т.п.) превратился в обязательную часть официальной идеологии, вплоть до государственного уровня, а с другой стороны, к тому, что подобные идеи, формулы и лозунги полностью утратили свое подрывное и антибуржуазное содержание. Капитал успешно переварил феминизм, экологизм и движение за права сексуальных меньшинств, превратив их из оппозиционных в консервативные, но ничуть не посягая на их право использовать радикальную риторику для самолегитимации.

Подобные движения на первых порах были источником объективно необходимой критики для левых. Подвергая сомнению ортодоксию упрощенной классовой идеологии, напоминая, что все социальные противоречия не могут быть сведены к конфликту пролетариата и буржуазии, они заставляли социалистов задуматься о сложности общественных явлений в современном мире. Однако очень скоро идеи политкорректности, интерпретирующей общество как совокупность меньшинств, нуждающихся в защите своих специфических прав, превратились в новую ортодоксию, причем гораздо более жесткую и агрессивную, чем прежняя. Принципиально важно, что идеология политкорректности убивала саму идею социального прогресса, понимае-

мого как достижение *общих* целей и решение задач, объективно *назревших в масштабах общественного развития* и разрешающего накопившиеся экономические, классовые и политические противоречия. Отныне противоречия капитализма не надо было разрешать, достаточно было лишь заботиться о «прогрессе» (вернее — успехе) определенных групп в рамках существующей системы через «позитивную дискриминацию». Однако и в этом случае победившая идеология выдавала желаемое за действительное. Способствуя выделению внутри соответствующих меньшинств собственных элит и успешных групп, политика позитивной дискриминации отнюдь не обеспечивала равномерного прогресса для соответствующей категории людей *в целом*, поскольку принципиально игнорировала классовые различия внутри данной группы (гендерной, расовой, религиозной и т.д.). Конечным итогом такой политики всегда являлось выделение *привилегированного меньшинства внутри меньшинства*, которое и присваивало себе все плоды позитивной дискриминации.

БУНТУЮЩАЯ ПЕРИФЕРИЯ

В странах третьего мира происходили перемены, по своему направлению аналогичные тем, что наблюдались на Западе. После крушения СССР правящие режимы государств, ориентированных на Москву, оказались ослабленными и деморализованными. Советская помощь прекратилась, а главное, исчезло представление о перспективе развития, которой надо следовать, чтобы добиться успеха. Оставшись один на один с Западом и его глобальными институтами, бывшие революционеры начали быстро менять идеологический окрас, соглашаясь на любые условия, лишь бы удержаться у власти и привлечь иностранный капитал. Стремительная переориентация радикальных режимов на рыночную экономическую модель привела к тому, что хозяйственные нормы в таких государствах стали (по крайней мере, на бумаге) даже более либеральными, чем в странах, традиционно ориентированных на западные образцы.

И все же то, что правящие элиты стран, выбиравших некапиталистический путь развития, после исчезновения СССР лишились ключевого партнера и оказались в крайне тяжелом положении, не объясняет легкости, с которой они сменили курс и превратились из апологетов национального освобожде-

ния в адвокатов неокOLONиализма. Во всех этих государствах еще до 1991 г. исподволь происходили процессы, аналогичные тому, что наблюдались в СССР и странах Восточного блока. Правящая бюрократия все более тяготилась идеологическими ограничениями, мечтая не только конвертировать власть в собственность, но и приобщиться к западной элите, образ жизни, культура и потребление которой оставались недостижимым идеалом. Политико-идеологическое крушение советской системы дало шанс разом реализовать все эти амбиции. Далеко не всем и не в равной степени это удалось. Трагически неудачным примером может быть история полковника Каддафи в Ливии, который на протяжении 1990-х годов изо всех сил старался налаживать дружбу с Западом, учил своих детей в Европе, финансировал Лондонскую школу экономики, но все равно, в конце концов, не вописался в траекторию перемен и был свергнут при содействии своих европейских партнеров, которых еще незадолго до того щедро поддерживал из своих нефтяных доходов.

Трансформация бюрократической номенклатуры в современную буржуазию оказалась куда более сложным и болезненным процессом, чем казалось первоначально. Радикальная смена управленческих моделей привела на первом этапе к неизбежной зависимости не только от иностранного капитала, но и от иностранных специалистов-технократов, которых постепенно заменяла собственная молодежь, выученная на Западе или по западным стандартам. Эти новые кадры представляли собой точную копию иностранных образцов — вплоть до гастрономических предпочтений, эстетических вкусов, манеры одеваться и причесок. Единственным различием (как в случае с куклой Барби, ставшей мощным глобальным инструментом культурного формирования девочек из обеспеченной среды) оставался цвет кожи, дополнявшийся некоторыми мелкими этническими особенностями. Новая технократическая элита постепенно замещала управленцев старой закалки. Чем более глобальным становился капиталистический рынок, тем более успешно и эффективно работала эта новая школа, постоянно расширяя сферу своего присутствия и господства.

Увы, проблема, с которой сталкивались новоиспеченные технократы, состояла в том, что далеко не вся экономика и далеко не все сферы общества оказывались в равной мере включены в глобальный процесс либерализации рынков. Хуже того, с рас-

пространением неолиберальной модели капитализма по миру накапливались и все больше проявлялись ее собственные противоречия — прежде всего рост имущественного неравенства и порожденное этим постепенное сокращение спроса на производимые товары.

Однако все эти проблемы казались незначительными, пока в мире существовала бесперебойно работавшая машина роста — экономика Китая.

Именно Китай, формально сохранявший красные флаги и коммунистическую идеологию, явился в конце XX и в начале XXI в. главной стабилизирующей силой либерального капитализма. Он был в состоянии не только выбрасывать на мировые рынки огромные массы все более дешевых товаров, принуждая трудящихся остальных стран смиряться с низкой заработной платой, но и поглощал огромное количество инвестиций, технологической информации, оборудования и наукоемкой продукции, позволяя поддерживать относительно привилегированные элементы западных экономик. В результате покупалась лояльность определенной части трудящихся и бизнеса, которые при иных обстоятельствах готовы были бы выступить против системы.

Культурная трансформация китайской бюрократии, управленческой и культурной элиты происходила по той же логике, что в странах бывшего советского блока и в союзных с ними государствах некапиталистической ориентации, но процесс шел медленнее. Трансформации оказывались постепенными, управляемыми и, как следствие, менее драматичными.

Неудивительно, что для части российской публики успех Китая стал восприниматься в качестве живого урока: оказывается, можно было перейти к капитализму с меньшими потрясениями, не теряя статуса великой державы, избежав упадка промышленности. Но «мудрость» китайской номенклатуры предопределена была не ее интеллектуальными или моральными преимуществами, а тем, что находилась она в иной исторической и экономической ситуации.

Рассматривая СССР и маоистский Китай как схожие постреволюционные общества, мы часто упускаем из виду, что в Поднебесной система была на 30 с лишним лет моложе советской. Историко-культурный возраст системы и ее бюрократической элиты является фактором, который почему-то не принимается

во внимание. Между тем подобный коллективный опыт имеет принципиальное значение. Это не только опыт осуществления власти правящей элитой, но и опыт урбанизации, индустриального развития, культурной революции и перехода от патриархального быта к городской нуклеарной семье. Поэтому Китай 1989–1991 гг. надо сопоставлять не с тем, что происходило в то же самое время в СССР, а с советским опытом 1953–1956 гг. Тогда, после смерти Сталина, советские правящие круги тоже стояли на распутье, но смогли довольно быстро и эффективно преодолеть кризис смены поколений. Аналогию дополняет и присутствие на заднем плане альтернативного варианта выхода из кризиса, который в Советском Союзе воплощал Лаврентий Берия. Поскольку он был устранен со сцены на самом раннем этапе партийной борьбы, очень трудно анализировать смысл «бериевской альтернативы», но по некоторым признакам она очень напоминала то, к чему Китай пришел в 80-е годы XX в. — ускорение экономической либерализации и постепенное смещение системы к капиталистической логике при сохранении жесткого политического контроля. Восторжествовала, однако, воплощенная Хрущевым противоположная линия — относительный хозяйственный консерватизм в сочетании с политической либерализацией.

Если продолжать сравнивать Китай и Россию с точки зрения социально-демографической и культурной эволюции, то обнаруживается, что именно к концу второго десятилетия XXI в. китайское общество пришло к структурному кризису, во многом аналогичному тому, что переживал СССР в 1989–1991 гг. Рост населения сменился демографическим упадком, а социальные отношения и быт модернизировались, радикально изменив психологию трудящихся. Бюрократия окончательно обуржуазилась, а средние слои стали претендовать на большее влияние.

Китайская экономика после 2015 г. сталкивалась с нарастающими трудностями, поскольку внешние рынки для сбыта ее продукции были исчерпаны. В то же время переориентация на внутренний рынок, о которой с энтузиазмом заговорили в Пекине, требовала радикальных изменений в обществе. Отсутствие всеобщей пенсионной системы, чудовищные диспропорции между регионами и не менее вопиющее имущественное неравенство становились препятствиями для экономического роста, не давали сформироваться интегрированному внутрен-

нему рынку. Иллюзия бесконечного и бескризисного роста, которая на более раннем этапе сопровождала подъем Японии, а затем Южной Кореи, в случае Китая продержалась существенно дольше, поскольку речь шла о беспрецедентных масштабах экономики, обладающей столь же исключительной инерцией. И все же это была не более, чем иллюзия. Нарастающая неустойчивость мировой системы, с одной стороны, поставила китайскую правящую группировку перед новыми, совершенно неизвестными ей вызовами, а с другой — превратила сам Китай из фактора стабильности в элемент непредсказуемости по отношению к глобальной экономике.

Все же в незападном мире кризис начался со стран Латинской Америки, которые первыми испытали на себе все позитивные и негативные стороны неолиберальной трансформации. Победа технократов над популистами, одержанная на этом континенте почти повсеместно в середине 1990-х годов, привела к стабилизации местных валют, ранее подорванных чудовищной инфляцией, притоку иностранного капитала, росту экспорта и появлению собственного среднего класса, аналогичного европейскому. Однако уже к началу 2000-х годов мобильный капитал устремился к другим берегам, перемещая производство в Азию и прежде всего — в Китай.

Общим местом является тезис о том, что глобализация привела к уничтожению рабочих мест в США и Западной Европе. В действительности же самые большие потери понесли как раз относительно развитые страны третьего мира и Восточной Европы. Западные государства сохранили свое промышленное производство ровно в той степени, в какой этого хотели правящие круги. Если в Британии сознательно проводилась политика деиндустриализации, то Германия, напротив, сохраняла и укрепляла промышленность, модернизируя ее технологически. А вот страны Латинской Америки и более развитые страны арабского мира — такие как Египет, Тунис или Алжир — не имели возможности эффективно влиять на движение капитала.

Резкий рост и последовавший за ним социальный кризис, дополнившийся серией финансовых крахов и экономической стагнацией, привел к самому настоящему антисистемному бунту в Латинской Америке. Этот бунт объединил низы с бизнесменами, работавшими для внутреннего рынка, и значительной частью низовой бюрократии, обиженной господством техно-

кратов-андроидов, изготовленных на конвейерах западных бизнес-школ. Результатом стал «левый поворот» Латинской Америки. Сначала в Венесуэле, потом в Боливии, Уругвае, Аргентине, Чили, Бразилии, Эквадоре, Парагвае и Никарагуа у власти оказывались руководители, опиравшиеся на левые партии и на социальные движения. В отличие от революционеров 1960-х и начала 1970-х годов, левые шли к власти не в качестве революционеров-повстанцев, они законно выигрывали выборы и опирались на привычные республиканские институты. Уровень их радикализма также был весьма различен — если в Венесуэле или Боливии речь шла о революции, то в Бразилии правительство обещало осторожные реформы, а в Чили вообще трудно было понять, чем левое правительство отличается от предшествовавших ему правых.

Однако даже наиболее радикальные левые правительства оказались не в состоянии изменить общую траекторию развития, они лишь занимались перераспределением ресурсов от экспорта, пытаясь стимулировать развитие внутреннего рынка и социальные программы. В краткосрочной перспективе это давало впечатляющие результаты, но затем импульс перемен исчерпывался. В отличие от советской системы, они не смогли создать собственную «машину роста», изменить структуру общества, сформировать новые социально-профессиональные слои, новые мотивации и тем более новую научную и культурную элиту, вышедшую из низов. Зависимость от мировой экономики не была преодолена, не были созданы компенсирующие ее механизмы развития. После 2008 г. экспортные доходы стали стремительно падать, подрывая механизм перераспределения. Латиноамериканское восстание против неолиберализма завершилось поражением на фоне того самого мирового кризиса, который на глобальном уровне демонстрировал необходимость альтернативы этому порядку.

Кризис показал, что способности либеральных элит контролировать ситуацию ограничены, а их ресурсы исчерпываются. Объективно нарастающий процесс распада сложившейся в 1980–1990-е годы экономической модели делает углубление культурно-политического кризиса неизбежным, а главное — непреодолимым в рамках существующей системы. Поскольку обратная связь и диалог с массами были заменены в процессе неолиберальной трансформации практиками манипуляции,

которые, в свою очередь, стремительно утрачивают прежнюю эффективность, элиты оказались в своеобразном социальном вакууме, испытывая дезориентацию и стресс.

Однако парадоксальным образом консолидированность элит, отсутствие каких-либо механизмов обратной связи между ними и массами может оказаться и фактором, препятствующим переменам. Изменившаяся система блокирует привычные реформистские механизмы, позволяющие переналадить общественную систему без слишком тяжелых потрясений. В свою очередь, массовые движения, лишенные прежней связи с политическим классом и прогрессивной интеллигенцией, то и дело вдохновляются традиционалистскими, националистическими и религиозными идеями, становясь опорой лидеров-популистов — как левых, так и правых. И все же именно из этих движений рождается в конечном счете через ряд испытаний и потрясений новая демократическая культура, которая позволит преодолеть тягостные последствия «восстания элит».

АДАПТАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

Оторванная от классовой организации и практики массовых низовых движений левая идеология из инструмента повседневной организационной работы постепенно превращается в *дискурс*, который затем приватизируется интеллектуалами и бюрократами так же, как более удачливыми представителями буржуазии были приватизированы государственные предприятия. Каждый захватывал и присваивал тот ресурс, до которого мог дотянуться, который мог контролировать. В этом смысле *эволюция левого движения и левой интеллигенции является вполне логичным и органичным элементом общего процесса неоллиберальных преобразований начала XXI в.*

Еще в 1980-е годы британский культуролог Стюарт Холл констатировал, что на место идеологических и содержательных дискуссий приходит «дискурсивная борьба». Иными словами, для успеха в споре теперь важны не факты, аргументы, статистика или даже логика, а лишь умение использовать нужные термины и символы, изначально маркированные как позитивные, современные, политкорректные. Напротив, сам факт употребления оппонентом тех или иных терминов, негативно маркированных «хозяевами дискурса», обрекает его на поражение, вне зави-

симости от того, какие аргументы он приводит в свою пользу. Именно таким образом была маргинализирована в 1990-е годы *содержательная* социалистическая программа (даже в ее реформистском виде), тогда как интеллектуалы избрали стихийную стратегию адаптации к господствующему либеральному дискурсу. В результате сначала сложился политкорректный «левый дискурс», а затем он был эффективно превращен в один из подвидов либерального дискурса.

С одной стороны, подобная стратегия адаптации была вполне естественной и логичной. Ее единственный недостаток состоял в том, что принявшие ее левые, по сути, становились органической частью правого проекта. Но с другой стороны, единственный способ одержать победу в условиях дискурсивной борьбы состоит в том, чтобы в этой борьбе принципиально не участвовать. Такая стратегия может сработать в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной обрекает интеллектуалов на неизбежную маргинализацию, загоняя их в академическое или сектантское гетто — до тех пор, пока подъем нового общественного движения не создаст спрос на новую программу и идеологию, противостоящую *любимым* формам господствующего дискурса. Парадокс состоит в том, что зачастую даже в этом случае выхода из сектантского или академического гетто уже нет, потому что длительное (а часто и комфортное) пребывание в нем создает определенный образ жизни и образ мысли, структуру мотиваций и правил, плохо совместимых с участием в практической политике. Таким образом, в условиях господства неолиберализма непригодными для решения задач социального преобразования стала не только та часть интеллектуалов и политиков, которые продались правящему классу и приняли его логику, но и часть, которая сохранила свои принципы и идеи ценой политической маргинализации.

Однако поражение и предательство интеллектуалов, в свою очередь, были спровоцированы серией неудач рабочего движения. И эти неудачи тоже не были случайными. Напротив, они были связаны с серьезными переменами в структуре занятости и переменами на рынке труда — как внутри развитых стран, так и на глобальном уровне. Неудивительно, что в такой ситуации левая интеллектуальная элита стала делать ставку не на пропаганду классовой солидарности и единства, а на поддержку различных идентичностей, надеясь в качестве субъекта перемен

заменить утратившее прежнюю мощь рабочее движение коалицией всевозможных меньшинств, каждое из которых имело те или иные требования и претензии к системе⁶. Эти коалиции, однако, даже если ситуативно и возникали, оказывались крайне неустойчивыми и неспособными работать на стратегическую перспективу.

Рассказ об угнетенных меньшинствах на лексическом уровне мимикрирует под классовый анализ, претендуя на то, чтобы расширить и углубить его. Однако классы объективно объединяет наличие общих социальных и экономических интересов. Напротив, меньшинства не могут быть определены через *общий экономический интерес*, поскольку такового у них просто нет — разные представители одного и того же меньшинства имеют не просто разные, а часто противоположные, взаимоисключающие интересы⁷. Потому у «меньшинств» нет интересов, а есть только «права».

В свою очередь, подобное представление о праве, сугубо индивидуальном и специфически приписываемом определенной исключительной категории граждан, с одной стороны, подбивает логику традиционной демократии, опиравшейся на

⁶ Соответствующим образом начала переосмысливаться и концепция гегемонии — не объединение широкого альянса вокруг рабочего класса, а создание движения из набора разнородных элементов, которые надо как-то соединить друг с другом. См.: *Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. L.: Verso, 1985.

⁷ Противоречия проявляются не только на классовом уровне, но даже внутри политкорректного дискурса, например — в символическом позитивном образе «женщины-мусульманки», которая «имеет право», не подчиняться требованиям женской эмансипации, отказываться от равенства полов и т.д. Очень характерным примером разрушения социальной логики в рамках леволиберального дискурса может быть статья Славомира Сираковского (Sławomir Sierakowski) «The Female Resistance», где обобщенная гендерная категория «женщин» противопоставляется политической категории «популистов». Классовые и социологические категории, разумеется, в анализе не используются. Условно-обобщенные «женщины» принципиально отождествляются с конкретно-политическим образом феминистки. Тот факт, что женщин, поддерживающих популистские движения, статистически больше, чем сторонниц феминизма, в расчет не принимается. Направивается вывод, что, согласно логике автора, женщины, не являющиеся феминистками, не являются в его системе понятий и «женщинами». См.: <<https://www.project-syndicate.org/commentary/populist-war-on-women-resistance-by-slawomir-sierakowski-2017-02>>.

универсалистское понимание права как равного и одинакового для всех (в противоположность вольностям и привилегиям Средневековья), а с другой стороны, отделяя право от интереса, превращает его в совершенно субъективную концепцию, содержание которой формулируется не коллективным субъектом данного права, а волей и фантазией идеолога, произвольно вычлняющего в обществе все новые и новые меньшинства по критериям, им же самим придуманным.

Конструирование все новых и новых меньшинств, их организационное оформление порождало все новые и новые специфические запросы, неминуемо находящиеся в конфликте друг с другом. При этом многие группы конструировались не только искусственно, но и безо всякого согласия «защищаемых» и без учета их мнений. Самым гротескным случаем, конечно, может быть движение за права животных. Защищаемые, увы, при всем желании не могут ни контролировать своих «защитников», ни призвать их к ответу.

Могут ли в принципе существовать «интересы животных» (общие для зайцев, гончих собак, волков и медведей)? Если ответ и будет положительным, то он сведется к общей для всех живых существ потребности в сохранении биосферы (где интересы животных как раз совпадают с интересами людей как *биологического вида*). Но мало того, что у волков и овец интересы разные, многие кампании зоозащитников представляют как раз угрозу для тех, от имени кого они ведутся. Так, тотальная победа вегетарианства приведет к резкому сокращению поголовья свиней и прочего домашнего скота, а исчезновение из продажи меховых изделий будет означать катастрофу для многих видов пушных животных, поскольку условий для сохранения их нынешней численности в естественных условиях, увы, давно уже нет.

Политическая проблема состояла, разумеется, не в том, что современное общество объективно неоднородно, а в том, что именно эта неоднородность и разнообразие тем более требуют объединяющей идеологии. Формирование рабочего движения в XIX в. тоже сопровождалось сознательными усилиями по выработке общей и единой классовой культуры, ориентированной на преодоление различий — надо было добиться, чтобы шахтеры и промышленные рабочие, приказчики в лавках и горничные в господских домах, батраки в поле и водители паровозов

осознали себя единым классом, поняли, что у них есть общие интересы, а то, что их объединяет, — важнее различий между ними. Это, разумеется, не означало отрицания объективности различий, которые не только осознавались, но и преодолевались — за счет осознанных компромиссов, ставших важной частью интегрирующей работы профсоюзного движения и рабочих партий.

Напротив, идеология политкорректности, возобладавшая среди западных левых начала XXI в., не только не была направлена на преодоление различий, но, напротив, всячески эти различия культивировала и любовалась ими. В то же время сами различия воспринимались не как противоречие интересов, которое должно быть устранено через сложные переговоры, взаимные уступки и компромиссы, где решающую роль играет именно большинство, объединяющее вокруг себя меньшинства, а как явление чисто культурное, когда любые *противоречия интересов* просто снимаются за счет демонстрации взаимного уважения. Иными словами, любование *различиями* сопровождалось подчеркнутым нежеланием признавать *противоречия*. Такой подход в точности соответствовал принципу «разделяй и властвуй» с той лишь разницей, что разделяли левые интеллектуалы, а властвовала неолиберальная буржуазия.

Отменяет ли классовая солидарность другие характеристики личности и поведения? Конечно, нет! У каждого из нас есть множество реальных и потенциальных идентичностей, порождаемых не только религией или этническим происхождением, но и нашей повседневной практикой, образом жизни, местом пребывания, профессией, образованием, происхождением и т.д. Один и тот же человек может определять себя через работу и потребление, через семейные, родовые, гендерные, сексуальные отношения и практики, даже через отношение к еде, курению или алкоголю. Отменить это невозможно и не нужно. Без этого немыслима была бы ни личность, ни культура.

Нормы, коды поведения, ценности, предписываемые различными идентичностями, определяют наши эмоциональные практики. Как замечает культуролог Андрей Зорин, «эмоциональный репертуар многих людей может включать в себя различные, часто плохо согласованные между собой, а порой и просто взаимоисключающие эмоциональные матрицы. Разные эмоциональные сообщества, к которым принадлежит человек,

часто диктуют ему совсем несхожие правила чувствования, в которых ему приходится ориентироваться»⁸. Это может быть отнесено не только к эмоциям, но также и к объективным интересам отдельной личности и даже целых групп людей. В качестве потребителей, например, они могут быть заинтересованы в удешевлении товаров, тогда как в качестве наемных работников будут стремиться к повышению своей заработной платы, что косвенно или даже прямо будет вести к росту цен на те же самые товары.

Принципиально важно, однако, не то, какие идентичности складываются в процессе жизни человека или сообщества, а то, какая именно из этих идентичностей определяет наше *политическое* поведение. В этом плане они совершенно не равноценны и не равнозначимы.

Политкорректность подменяет политические вопросы культурными, одновременно не создавая возможности их решения. Действия сводятся к ритуализированному воспроизведению дискурсивных практик, выдаваемых за идейную борьбу.

Суть политкорректности даже не в запрете на употребление тех или иных слов и выражений, которые действительно могут быть воплощением на лексическом уровне предрассудков и дискриминации, а в запрете проблематизации определенных тем, обсуждения определенных вопросов. Причем уже совершенно *не важно, какую именно позицию вы занимаете в процессе обсуждения, недопустимой становится сама постановка вопроса* (например, нельзя говорить о социальных проблемах, связанных с притоком беженцев в Западную Европу, или о противоречиях, порождаемых «позитивной дискриминацией» групп, которые ранее были ущемлены в правах).

Характерным примером может быть то, как проблема однополых браков была искусственно навязана не только обществу, но сексуальным меньшинствам — еще в начале 2000-х годов активистам гей-движения даже не приходило в голову, что может быть выдвинуто подобное требование. Однако именно данный вопрос был выдвинут правительством социалиста Франсуа Олланда на первое место в текущей политической повестке.

⁸ Зорин А. Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 36.

И совершенно не случайно, что именно администрация, озаботившаяся проблемой однополых браков, подготовила самую реакционную реформу трудового законодательства в современной истории не только Франции, но и всей Европы.

Принципиальная идеологема «прав меньшинств» не только не предполагает каких-либо специфических дополнительных обязанностей в обмен на дополнительные права (типа *preferential treatment, affirmative action* etc.), но в той или иной мере создает возможности уклонения от общегражданских обязанностей. Иными словами, это не права, а привилегии. Тем самым происходит постепенное уничтожение гражданского общества, в котором совокупность групп и организаций должна, в идеале, составлять единое пространство участия и дискуссии.

Распространение идеологии мультикультурализма и политкорректности со свойственной им идеализацией меньшинств, противопоставлявшихся по определению обществу «белых мужчин», было изначально и сознательно направлено отнюдь не против буржуазии, дискриминационные элитарные практики, культуру и идеи которой критиковало также и рабочее движение, а именно против культурных норм и традиций самого рабочего класса. Причем наступление на эти нормы шло тем настойчивее, чем менее сам рабочий класс оказывался состоящим из «белых мужчин».

Парадоксальным образом, чем более активно проводилась на Западе политика, ориентированная на защиту меньшинств, и чем больше внедрялась соответствующая идеология на официальном уровне, тем больше проблем возникало у представителей соответствующих меньшинств на бытовом уровне. Американский публицист Крис Хеджес уверен, что рост расистских и гомофобских настроений в низах американского общества явился закономерным результатом практики позитивной дискриминации и политкорректности, которые на самом деле были необходимым прикрытием и органической частью неолиберальных реформ и способствовали (как и любые другие программы адресной помощи) демонтажу институтов социального государства. Эта политика, проводившаяся при полной поддержке левой и либеральной интеллигенции, в своей основе имела «лицемерие образованной элиты, которая всячески демонстрирует сочувствие к обездоленным и свою политкоррект-

ность, одновременно предавая рабочих и бедняков и обслуживая власть корпораций»⁹.

Праймериз Демократической партии США в 2016 г. прекрасно выявили реальный смысл политики позитивной дискриминации и affirmative action как механизма подкупа афроамериканских элит, которые, в свою очередь, обеспечивали лояльность подконтрольных им низов по отношению к неолберальному проекту и его лидерам. Лояльность меньшинств использовалась для мобилизации электоральной поддержки Хиллари Клинтон и аппарату партии, чтобы блокировать усилия сторонников Берни Сандерса, стремившихся провести социальные реформы в интересах этих же самых меньшинств. Принципиальная разница, однако, состояла в том, что политика Сандерса трактовала афроамериканцев, женщин, любые другие угнетенные группы не как отдельные и специфические сообщества, с лидерами которых надо договариваться и подкупать их теми или иными подачками, а как часть трудовой Америки, нуждающейся в новом курсе на общенациональном и общесоциальном уровне. Логика клиентелистских отношений вступила в прямую конфронтацию с логикой классовой и гражданской солидарности.

Формирование клиентелистских отношений, обеспечивавших политический контроль демократов над представителями различных меньшинств и в первую очередь афроамериканскими массами, оплачивалось налогоплательщиками, одновременно обрекая большинство чернокожего населения на Юге США на воспроизводство существующей структуры, бедности, зависимости и бесправия — не только по отношению к «белым» элитам, но и по отношению к собственным community leaders, интегрированным в эту систему.

Либерально-гуманистический клиентелизм выступил наиболее эффективным механизмом подрыва классовой солидарности, поскольку он не только противопоставлял интерес индивидуального работника интересам массы, но и дробил саму массу на множество противостоящих друг другу групп, каждая

⁹ Hedges Ch. The Revenge of the Lower Classes and the Rise of American Fascism. Truthdig. 02.03.2016. См.: <http://www.truthdig.com/report/item/the_revenge_of_the_lower_classes_and_the_rise_of_american_fascism_20160302>.

из которых была организована вертикально и подчинена контролю собственной коррумпированной элиты.

Разумеется, традиции и практики рабочего класса в реальности тоже никогда не были этически безупречными. Если отбросить идеалистическую романтизацию жизни рабочих, типичную для леворадикальной интеллигенции первой половины XX в., в повседневной жизни трудящихся и в деятельности классовых организаций можно было обнаружить достаточно материала для критики. Однако политическое содержание этой критики, развернувшейся параллельно с общим контрастованием капитала на труд в конце XX столетия, вполне очевидно. Атака на традиционные ценности и практики рабочего движения призвана была размыть его культуру в тот самый момент, когда это движение, подрывавшееся объективно происходящими экономическими и социальными процессами, переживало институциональный стресс и нуждалось в сохранении культурной преемственности как никогда ранее. В известном смысле, подобная критика рабочих традиций отражала происходящие сдвиги, но одновременно закрепляла и усугубляла их, препятствуя формированию новых механизмов солидаризации, которые не могли быть созданы, во-первых, без опоры на существующую традицию, а во-вторых, без усилий по формированию и консолидации нового устойчивого *большинства*.

В любом случае, обвинять традиционный рабочий класс в том, что он «белый» и состоит по меньшей мере наполовину из мужчин — это то же самое, что требовать покаяния от детей за грехи их родителей, да еще зная, что перечисляемые грехи были на самом деле совершены совсем другими людьми и в другом месте. Идея приписать коллективную вину именно «белым» по *праву рождения* могла прийти в голову только привилегированным белым интеллектуалам, заведомо исключаящим себя из группы, подлежащей идеологическому ostracismу, но не отказывающихся ни от одной из привилегий, ей приписываемых.

Хотя консервативные публицисты склонны были видеть в подобных высказываниях лицемерие или своего рода расизм наоборот, суть данной идеологии была вовсе не в том, чтобы заставить «белых мужчин» стесняться своего происхождения. Формировалась эффективная технология, сознательно применяемая для подрыва солидарности и раскола трудящихся по расовому (гендерному, культурному и т.д.) признаку. Одним —

меньшинствам — приписывают роль жертв, нуждающихся в покровительстве прогрессивной либеральной (преимущественно белой) элиты, другим — роль грешников поневоле, которым предстоит искупить свою родовую вину за счет отказа от защиты собственных интересов и соблюдения идейно-политических ритуалов политкорректности.

Антисолидарная логика подобного подхода была вполне очевидна с самого начала, но гегемония интеллектуалов в сочетании с необходимостью приспособливаться к требованиям неолиберализма и меняющимся под его влиянием академическим порядкам создали ситуацию почти тоталитарного морального террора, когда любое публичное выступление против доминирующего дискурса фактически блокировалось или, в лучшем случае, осуждалось как проявление старомодного, патриархального, консервативного или сталинистского мышления.

Показательно, что сам язык «позитивной дискриминации» является иерархическим и патерналистским, принципиально выставляя меньшинства в качестве неизменно слабой и страдающей стороны, являющейся объектом помощи. Субъектом действия, принятия решений остаются государство и интеллектуально-политическая элита.

Система принципиально исключает возможность реального равенства и эмансипации, поскольку в таком случае помощь «слабым» становится ненужной и необоснованной. Иными словами, чтобы получать поддержку, «целевая» группа (будь то национальные меньшинства, женщины, гомосексуалисты и т.д.) должна оставаться слабой и угнетенной, иначе право на помощь невозможно будет обосновать. Воспроизводство «слабости» является фундаментальным принципом и важнейшей (но не провозглашаемой официально) задачей любой «адресной помощи». В этом ее принципиальное отличие от универсалистского социального государства, которое *не допускает никакой, в том числе и позитивной дискриминации*, оказывая равную помощь всем.

Вопрос о том, кому, за что и как можно критиковать существующий порядок, тоже был жестко упорядочен. Фактически дискуссия о пороках системы была сведена к набору общеобязательных слов и формул, которые должны были регулярно повторяться вне всякой связи с реальными процессами, происходившими в обществе.

В рамках леволиберального подхода солидарность мыслится, в лучшем случае, как некий договор о взаимопомощи между различными группами и «меньшинствами», своего рода пакт о ненападении, при котором общая повестка складывается из механического сочетания множества совершенно различных повесток, противоречия между которыми старательно замалчиваются или игнорируются. Движение протеста мыслится не как единое солидарное целое, но только как коалиция или даже, по выражению Наоми Кляйн, «коалиция коалиций».

Напротив, традиционный принцип классовой солидарности предполагал именно формирование единой общей повестки на основе фундаментального, базового интереса, являющегося *изначально* общим. Смысл этой солидарности был не в сосуществовании различных групп, а в *преодолении* их различий, в их слиянии и создании вместо множества конфликтующих «идентичностей» единой классовой, а в перспективе — человеческой общности. Это, разумеется, не означает отказа от признания культурных различий или неуважения к ним, но это значит, что данные различия должны оставаться и осмысливаться именно как культурные, по возможности изживаемые и преодолеваемые в сфере политики, тогда как логика мультикультурализма, постмодернизма, феминизма и политкорректности предполагает ровно противоположный процесс засорения политики культурными проблемами и превращения ее в форму переживания и воспроизводства постоянно нарастающего числа культурных особенностей и различий.

Борьба за социальные преобразования отнюдь не означает отказа от эмансипации женщин или национальных меньшинств, но предполагает, что борьба за эти интересы объективно может быть успешна лишь в рамках общей *комплексной и целостной* стратегии изменения общества, причем именно *общие* социальные приоритеты должны определять политическую повестку дня.

ФЕМИНИЗМ И ДРУГИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ

Особенность политкорректного сознания состоит в том, что любые группы мыслятся не только однородными, но и неизменными, закрытыми друг от друга и существующими друг от друга независимо, подобно монадам у Лейбница. Они могут

Kagarlitsky, B.

Between Class and Discourse. How Left Intellectuals Serve Capitalism [Text] / B. Kagarlitsky; National Research University Higher School of Economics. — Moscow: HSE Publishing House, 2017. — 280 pp. — (Political Theory). — 1000 copies. — ISBN 978-5-7598-1709-3 (hardcover). — ISBN 978-5-7598-1675-1 (e-book).

In this book Boris Kagarlitsky studies political crisis of international left showing how it is organically connected to the crisis of capitalism. Contrary to common belief, difficulties experienced by the capitalist system and dominant neoliberal ideology are not creating new opportunities for the left. Instead of moving forward in the context of this crisis the left is revealing its weaknesses and political limitations demonstrating to which extent it became itself part of the current system and its ideas are representing nothing more but a radical version of the very same dominant bourgeois ideology replacing the logic of class struggle by the concept of minority rights

The left is in crisis everywhere from Latin America to Ukraine and from Western Europe to Russia. In this context however it is even more important to examine a few existing success stories such as the election of Jeremy Corbyn to Labour leadership in Britain and growing popularity of senator Bernie Sanders in the US. These successes may be seen as signs of a new emerging trend but this assumption can only be valid if we see these developments as a beginning of a totally new radical politics overcoming the dominant logic of liberal political correctness. Only returning to the agenda of class may save the day for the left. However this will also work only if the left recognises that the class structure of capitalist society itself changed dramatically and needs to be reexamined. Repeating the slogans of the 20th century will not work. One has to understand and represent current needs and interests of the toiling masses building up a new program reflecting this reality, developing new practices of solidarity and addressing the issue of power seriously.

The book is addressed to a broad audience interested in political studies, sociology and political economy.

Научное издание
Серия «Политическая теория»

БОРИС КАГАРЛИЦКИЙ

МЕЖДУ КЛАССОМ И ДИСКУРСОМ.
ЛЕВЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ НА СТРАЖЕ
КАПИТАЛИЗМА

Главный редактор
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

Заведующая книжной редакцией
ЕЛЕНА БЕРЕЖНОВА

Редактор
МАРИНА КОВАЛЕВА

Художник
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

Верстка
ЛЮБОВЬ МАЛИКИНА

Корректор
ЕЛЕНА АНДРЕЕВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
Тел.: (495) 772-95-90 доб. 15285

Подписано в печать 31.10.2017. Формат 60×90/16
Гарнитура Minion Pro. Усл. печ. л. 17,5. Уч.-изд. л. 14,8
Печать офсетная. Тираж 1000 экз.
Изд. № 2130. Заказ №

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13
Тел.: (8352) 56-00-23